
Зиновий
Фазин
ПЯТЬ
СТРОК
ПЕТИТА





Зиновий Фазин

Пять строк петита

*Повесть
с комментариями,
драматическими
диалогами
и
в общем
благополучным
концом*



Советский писатель
Москва 1970

В редакцию газеты пришло письмо о неблагополучии на небольшой стройке. Письмо, как это часто бывает, переслали в соответствующее министерство, и на стройку с заданием выправить положение выезжают два инженера, автор проекта, а следом за ними — начальник главка и член коллегии министерства

На стройке все оказывается сложным и запутанным, но еще сложнее, чем техника и организация производства, оказываются отношения между людьми. Таков сюжет повести З. Фазина «Пять строк петита».

Главное в ней — утверждение красоты в жизни и труде, прекрасного в обыкновенном.

Повесть написана легко и весело, в несколько необычной манере.

З. Фазин известен как автор романа «Впервые», повестей «Крепость на Волге», «Однажды ночью», «Нам идти дальше», «Санкт-Петербургская быль» и других.

Р 2
Ф 16

7-3-2
61—70



1. ПИСЬМО ИЗ БАРЫБЫ

Было утро, славное июньское утро, с ярким солнцем и пением птиц и с хорошим настроением, хотя впереди еще предстоял утомительный рабочий день.

Наша милая Наталья, — средних лет женщина, худощавое лицо с челкой, жилистые руки, — добрая наша Ата, или Аточка, как мы, редакционная братия, ее звали, хотя и были моложе ее, сидела за пишущей машинкой с папиросой в зубах и стучала. А я диктовал. И поскольку всякий, кто берется за перо, мне

кажется, должен быть искренен, сразу скажу: я не придавал особенного значения тому, что диктовал; это входило в мои каждодневные обязанности и называлось у нас «разгонять почту». А почта — это ворох читательских писем, часто до ужаса пухлых и запутанных, вот такая груда, сто или двести, а то и больше. Целая куча бумаг, кричащих на разные голоса о человеческой неустроенности. И, добавим, удивительной неуёмности — особом свойстве мятущихся душ вторгаться гражданским словом во все и вся.

Я беру из кучи очередное письмо.

Так, так, ясно! Оно из Барыбы. Есть такое водохранилище. Где-то на юго-востоке от Москвы. И, как видно из письма, на берегу этой Барыбы что-то строят. Да не очень спешат. Да и строят неважно. Бывает, бывает, увы, знакомое дело. А у министерства — ну, как обычно — руки не дошли проверить. Вот мы сейчас это письмо в то министерство и загоним. Пускай разберутся и ответят, голубчики, так ведь нельзя, дорогие! Стройка на Барыбе не ахти какая, рыбу там, что ли, собираются разводить в специальных прудах, — все равно меры должны быть приняты! Рыбы-то мало, правда же.

— Пишем, — говорю я Ате. — Сначала оттарабаним в Барыбу авторам, или, точнее, авторшам письма, их две. . .

— Минутку. — Ата раскуривает угасшую папироску и задумчиво смотрит на меня, как бы решая, стоит ли со мной разговаривать или нет. — Барыба, Барыба. . . А знаете, я там в войну здоровье потеряла. . .

— Воевали там?

— Воевала...

Я гляжу на часы. Писем еще многовато, а времени мало. А про то, что Ата воевала, я вообще-то знаю, и все это знают. Она и прихрамывает от старой раны в ноге, наша Ата. И все сочувствуют ей. Ножки у нее еще хороши, ничего не скажешь. И жалко, конечно, — танцы для нее давно не существуют. А была, видать, огонь девка в свое время. Все это так, но времени мало. И я молчу, чтобы не затеялся разговор о войне и о том, что творилось тогда в барыбинских местах, бог с ними. И я барабаню пальцами по лежащей на моих коленях папке с письмами. И тогда Ата, — милая, добрая Ата, как мы все ее любим, — кладет обе руки на клавиши своей машинки. И говорит со вздохом:

— Ладно, шпарьте!..

Ату мы все любим за ее бешеную, прямо-таки лошадиную работоспособность. Я вообще считаю машинисток самыми работоспособными из всех, с кем приходилось мне встречаться. Умеют работать. Вся их жизнь проходит в стуке. И жизнь они знают.

После ее «шпарьте» я все-таки выжидаю энное количество секунд, чтобы не показаться, во-первых, бестактным и безучастным к судьбе человека, отдавшего фронту лучшие, юные годы. А во-вторых, не дай бог создать о себе на работе впечатление как об эксплуататоре, — тебе нужно, вот ты и гонишь душу из другого. А машинистки особенно этого не любят. Так что знай меру... Но вот эти секунды прошли, и снова мы с Атой стучим.

— Значит, пишем: «Уважаемые тт. Климушкина и Терехина, поднятый вами вопрос...» Слово «вами»,

Аточка, пишите с маленькой, авторш, как я уже сказал, две, и, хотя я не Шерлок Холмс, по-моему, обе — девушки, и даже с какими-то порывами, это явно чувствуется в их письме, но значения, впрочем, не имеет, и давайте продолжим, Аточка: «. . .поднятый вами вопрос мы постараемся осветить в дальнейших выступлениях нашей газеты. А пока. . .»

— Минутку, —говорит Ата и снова снимает руки с машинки. — А что там такое, в письме?

— Обычная история, письмо как письмо, Аточка.

— То есть?

— Что-то не ладится на той барыбинской стройке в смысле соответствия проектного идеала житейской действительности воплощения, одним словом. И даже приведена цитата насчет поэзии сердца и прозы отношений, чего не должно быть.

— То есть?

— Расхождения не должно быть, пишут они.

— Кто?

— Да эти девушки.

— Ну и правильно пишут, — сказала Ата. — Это же большой вопрос. . . Может, зря?

— Что зря?

— Письмо загонять в министерство.

— А куда его загонять?

— Поехали бы сами в Барыбу. . .

Я тыкаю пальцем в кучу лежащих перед нами писем. И смотрю укоризненно на Ату. Умная женщина, бывалая, чего только не испытала. И женщиной все-таки осталась. У нее — чуткое сердце. И за все это ее нельзя не любить. Но, работая уже много лет в редакции, должна же она была, в конце концов,

привыкнуть к мысли, что на свете все интересно, к чему ни прикоснись! И по каждому из этих писем можно написать при наличии таланта — потрясающий роман; при наличии смелости — острый социологический очерк; или, на худой конец, при полном отсутствии того и другого, — философский трактат. И нет сомнений также в том, что поездка журналиста в Барыбу была бы и сама по себе занимательна. И, возможно, куда более успешна по результатам, чем засылка письма в министерство. Но если по каждому такому письму бросаться в поездки, то изъездишься в доску, а когда же газету делать, черт возьми! А главное — газета должна быть газетой, а не жалобной книгой. И не летописью несовершенств человеческой жизни. «Газета есть газета», — говорит наш шеф, и с ним не поспоришь.

Ата, конечно, поняла мой жест и пожала плечами.

— Жаль, жаль... Наверно, хорошие девочки.

— Кто?

— Да те, что написали это письмо. Вы бы там познакомились с ними.

— Что вы, Ата? — делаю я удивленное лицо. — Как вы ставите вопрос?

Она усмехнулась с видом прошедшей огонь и воду женщины, хорошо знающей цену мужского ханжества. И я тоже усмехнулся, храня вид человека, понимающего женскую слабость сводить любое дело к извечному «он — она». И, чтобы прекратить разговор, я сказал, что фонд по командировкам исчерпан на весь квартал, как раз вчера на летучке нам об этом объявляли. Так что вопрос отпадает. И, когда, услы-

шав об этом, Ата с грустным лицом положила руки на машинку, я продолжал:

— Пишем этим девушкам, значит, так: «А пока пересылаем ваше, — с маленькой буквы опять же, поскольку их две, — ваше письмо посылаем в министерство для принятия мер, без указания ваших, — с маленькой, фамилий, — как это и оговорено в вашем письме». Подпись шефа, дата, номер...

Ата все отстукала с молниеносной быстротой и, как всегда, забегая вперед. Потом мы с ней столь же скоропалительно отгрохали сопроводительную бумажку в министерство: из Барыбы, мол, к нам поступил такой-то сигнал. В связи с чем и направляется вам. А для чего — это Аточка уже писала сама, не дожидаясь моей диктовки. Тысячу раз писала подобное. Да я бы за ней и не угнался. А сигналов таких — господи!

Я берусь со вздохом облегчения за следующее письмо и вижу: Ата, еще достукивая номер и дату, косит глаза на кучу оставшихся писем в моей папке. И тоже вздыхает. Но не с облегчением, а так, как это делают люди, у которых щемит сердце.

Видите — что-то всколыхнулось у этой женщины в душе. Бывает, бывает. На работе что-то зацепит, да некогда углубляться, все некогда...

Вот и все, что было в то утро. Клянусь, я ничего не добавил, скорее — убавил. А вот что потом произошло в жизни, это другое дело, главный интерес ведь в том, как в жизни бывает. Вот об этом я и хочу рассказать и прошу до самого конца меня не спрашивать, откуда и как я все это узнал.

2. ЛАРИОНОВ ГОРИТ

Тут, несмотря на интригующее название главы, речь пойдет главным образом о вещах и событиях ведомственных. И видите — уже трещит телефон! Предмет, тоже, если не в большей мере, чем пишущие машинки, определяющий сегодня нашу жизнь.

— У телефона! .. Да, я, Мостовой. Это Сенчихин? .. Слушай, Евгений Петрович, прочел я сейчас весь документ про Барыбу и письмо из редакции и должен тебе не по ведомственной, а по всей чистой совести сказать: это же безобразие, позор, скандал, с этим же нельзя мириться, даже если перевернуться кверху ногами! ..

— Меры принимаются, Александр Макарович.

— Что-то я плохо стал разбирать твой голос. Ты что, охрип? За город ездил?

— Простыл на докладе у себя в главке.

— Я тоже плох, совсем плох. Сердце...

— Пейте травы, Александр Макарович. Хотите — научу: крушина, березовые почки, александрийский лист, бессмертник, валерьяновый корень и листья мяты. По две столовых ложки на девять стаканов воды.

— И помогает?

— Очень.

— Попробую, только все равно от волнений не уйдешь. Ожидается, как тебе ведомо, правительственное постановление как раз по рыбным вопросам... Что? Что, что? .. Где ты выяснял? .. В Совете Министров? Ну и как? Я плохо слышу.

— Я говорю: в Совете Министров на этот счет пока никакого движения воды нет, но, разумеется,

ухо надо держать востро и действовать. Я так считаю, Александр Макарович...

— Влипнем еще в постановление под горячую руку, черт побери эту Барыбу совсем. Надо обратить на нее серьезное внимание и прежде всего — людей, людей туда погнать, а то все забюрократились, черти, бога забыли, норовят бумажками отписываться, докладными записками, а дело ни с места, пропади оно пропадом... Что?

— Я говорю: совершенно согласен, Александр Макарович. Пошлем людей, за этим дело не станет. Завтра же представлю на утверждение. Я думаю, Александр Макарович, тут вот что придется брать в расчет, кстати: в прошлом году летом в Барыбу ездил известный нам Ларионов...

— А что тут думать? Туда его, в Барыбу! В первую очередь! Он же автор проекта!

— Вот именно! Автор, и ездил туда как раз в порядке авторского надзора, а в результате мы имеем, как видите, неприятный сигнал, — вот вам и автор!..

— Ну-ну, парень он неплохой. Но командировку за границу придется, конечно, задержать, пусть сперва стройке поможет.

— Правильно, Александр Макарович, вполне согласен, хоть и жаль молодца.

— Всех жалко, себя тоже жалко!

— Вполне согласен, Александр Макарович, но я еще хотел обратить ваше внимание на особый тон письма из Барыбы. Во-первых: оно без подписи...

— Чепуха! Мы же знаем, что там плохо, и без этого письма, а тем более — нам еще сигналят!

— Да, согласен, Александр Макарович, но уж

очень, знаете ли, пахнет от письма личным. Я бы сказал, чем-то, определенно наводящим на размышления!..

— Что же, по-твоему, какая-то интрига тут?

— Не берусь пока ничего сказать, Александр Макарович, но я принял меры, чтобы установить личности авторов письма, и смогу, надеюсь, кое-что доложить вам денька через два-три...

— Не знаю, не думаю, чепуха это все, наверно! Мы всюду хотим видеть интриги, а не хотим видеть, что плохо работаем... Что?.. Постой, дай сказать! Поверишь ли, я даже расчувствовался, когда читал письмо. Люди хотят жить по высшей правде, это же красота! Это же вся надежда наша... Что?

— Я говорю: согласен, конечно, Александр Макарович. Тут и спору нет, и я еще вот что думаю: в редакцию пока отвечать не будем.

— Разберемся, потом ответим.

Вели этот телефонный разговор лица, занимающие солидные положения в ведомственном мире, — Мостовой и Сенчихин. Последний, как не трудно было заметить, соблюдал в разговоре и интонациях некоторую дистанцию между собой и членом коллегии Мостовым, тонко и с достоинством подчеркивая свое более скромное служебное положение, как и. о. начальника главка.

Вот и все, собственно, что... Простите, еще звонят.

— Титова?.. Ирина Романовна, дорогая, я должен вас огорчить, да положение обязывает: вы едете в Барыбу.

— Как? Я же в отпуск собираюсь.

— Без разговоров, дорогая. Зайдите ко мне в кабинет после обеда, посидим на диване, и я поясню обстановку.

— С ума сойти! Что мне Барыба?

— Голубушка, вы же умница! Не ерепеньтесь!

В старину говорили: «Пошла писать губерния», сейчас следовало бы сказать: «Пошла звонить» или «Пошла стучать». . . И вот уже какую-то умницу Титову тоже втянуло в ведомственную карусель, и приятно, конечно, что туда собираются послать умницу, а не какую-нибудь дуру, но обидно в то же время, что человек лишится положенного отпуска из-за Барыбы. И все это, подумать только, результат письма каких-то двух девушек, о которых мы еще ничего не знаем. А вопрос — кто они, эти девушки, более чем законен, тут не праздное любопытство. Смотрите, сколько народу мало-помалу начинает втягиваться в эту историю! И почему они пожелали остаться неизвестными, если их письмо куда-нибудь перешлют, тоже не лишний вопрос. И наконец, что-то же есть в их письме, если сам Сенчихин учуял. . . Извините, опять звонят.

— Передаю телефонограмму, записывайте: «Предлагается вам срочно выехать в Барыбу для выяснения положения дел на месте, а также согласованной работы с представителем треста Титовой И. Р. и инженером Гидропроекта Ларионовым по устранению имеющихся на стройке недостатков». Кто принял?

— Брук.

— Кто? Кто принял?

— Брук, я сказала.

— Брюква?

— Не Брюква, а Брук! Вы лучше скажите, кому телефонограмма? Графу Бобринскому?

— Какому графу? Агееву! Агееву! Есть у вас такой в управлении?

— Есть, как не быть. Старший сотрудник.

— Ну вот, сами знаете, а спрашиваете.

— Вы мне надоели, милая!

— От таковой же и слышу! ..

Казалось бы, люди и на службе могли бы говорить друг другу любезности, но, увы, часто бывает наоборот. Ни с того ни с сего, как на Украине говорят, «поштурхают» один другого и просто так, мимоходом, обменяются колкостями, а то еще облаются. И даже нельзя сказать, что это им портит настроение, ничуть. Через минуту они уж забыли.

Не будем останавливаться на этом и мы и отметим нечто более важное: дело Барыбы нарастает, как снежный ком, и вот уже какого-то старейшего сотрудника главка Агеева тоже гонят в Барыбу. И даже не скажешь, что дело-то уж бог весть какое особенное. Таких сигналов, таких писем из разных Барыб чуть не каждый день приходит в министерства десятки, и если они пересланы сюда из редакции, то, правда, карусель вертится быстрее, но в сущности же это обычная ведомственная жизнь.

3. ВСЕ ИДЕТ КАК НАДО

В Москве где-то в районе трех вокзалов помещается «Гидропроект», учреждение такое, ведающее строительством на водах — морях, реках, прудах,

озерах и прочем. Для входа туда, не помню уже, нужен пропуск или нет, но учреждение это строгое, хозрасчетное, серьезное, хотя народ там работает веселый, — я веселее инженеров-проектировщиков никого не знаю; работа у них трудная, клятая, а они песни поют, и анекдоты любят, и стихи, все как полагается у молодежи. А молодежи там немало, наверно потому, что само дело молодое, человечество еще как следует на водах не развернулось. Но это еще впереди, а пока вот пруды надо проектировать, чтобы в магазинах было больше рыбы. И одну такую стройку спроектировали здесь для Барыбы. А дело там, что мы уже знаем, не идет, и, как всегда в таких случаях, особенно после того, как в министерство пришел сигнал, начинаются всякие неприятности.

Беда была еще в том, что сюда, в «Гидропроект», пришло «отношение» за таким-то номером, с копией в другое ведомство, именуемое (тут следуйте за мной, уж я как-нибудь помогу вам разобраться в этом лабиринте ведомственных ходов), именуемое, говорю я, «Госрыбстрой». И разговор в этой бумаге шел о ходе выдачи рабочих чертежей для барыбинской стройки. А подписана была бумага Сенчихиным, который, как хорошо знали, воробей тертый, его на мякине не проведешь. Это аккуратист, каких свет не видывал. У него каждая скрепка на столе на своем месте лежит, а карандаши все до единого всегда остро отточены и торчат из карандашницы, как пики. И все он помнит, Сенчихин, и душу из вас вытянет, если бумажка не так составлена или ответ на вопрос не вовремя получен.

Ход выдачи рабочих чертежей для барыбинской стройки, по мнению «Госрыбстроя», — и об этом говорилось в отношении, — отстает, что и срывает графики запланированных работ по Барыбе. А в «Гидропроекте», куда мы сейчас заглянем, прочитав это, страшно возмутились. Как? Что за ерунда? Стройке выданы рабочие чертежи чуть не на целых полгода вперед! Ребята из группы Ларионова, главного инженера проекта, только посмеялись. Да и сам Ларионов посмеялся бы, но он в этот день еще ходил с бюллетенем по болезни и на работе не был. У него фурункул на шее вырезали. С детских лет, говорят, мучают Ларионова фурункулы. Он в детдоме вырос, недостаточно хорошо питался, естественно, каких-то витаминов недополучил, отсюда и фурункулез, как сказали врачи. Так вот, его на работе в этот день как раз не было, а был бы на работе, то наверняка бы посмеялся — эта Барыба в печенках у него сидит.

Мало мучений было с проектом, думаете? Пришлось повозиться, и ездить в Барыбу пришлось не раз, а это черт-те где, но все-таки проект получился неплохой и был премирован по предложению, кстати, самого Мостового и по приказу Сенчихина после утверждения вопроса на коллегии, и было это года полтора назад.

На другой день утречком Ларионов явился к девяти часам на работу с еще перевязанной шеей, и сейчас мы его увидим, а заодно станем свидетелями некоторых обстоятельств его жизни.

Но прежде, чем перейти к этому, я должен попросить извинения у Ларионова (это не выдуманный персонаж, к вашему сведению), а заодно извиниться

и перед остальными работниками его учреждения за свое непрошеное вторжение в их служебные и личные дела. Я позволяю себе это исключение ради святой цели, о которой тоже скажу позже. А здесь, после принесенных извинений, я уже без особых стеснений приведу сценку, происшедшую этим летним жарким утром в мастерской «Гидропроекта», и точно укажу, где именно все происходило: в углу большого зала, за шкафами. Тут и работает на своих столах и кульманах группа Ларионова, тут иногда и ест и, между нами говоря, в особых случаях и пьет.

Ввиду некоторой щепетильности затронутой выше темы выносим в отдельный абзац следующую оговорку: и то и другое, то есть еда и питье на работе, носит в группе Ларионова вполне умеренный и приличный характер. Обедов с супом харчо и поджаркой из баранины здесь не бывает. А питье ограничивается чаще всего одной или двумя бутылками полусухого шампанского, купленного то по случаю премии, то дня рождения одного из членов группы, а то просто по причине хорошего настроения, охватывающего служебный мир в предпраздничные дни.

Конечно, возможно и так: в той самой мастерской, где все это происходило, вам сегодня скажут, что никаких особых сценок в связи с Барыбой не было. А мы и не утверждаем, что сценки эти были какими-то особыми. Такое случается в любом учреждении. И никто, надеюсь, не станет отрицать, например, достоверность эпизода, произошедшего сразу по приходе Ларионова на работу, а именно — этак в четверть или в двадцать минут десятого вокруг рабочего стола главного инженера сгрудилось пятеро его

сотоварищей по работе, таких же молодых, точнее — двадцативосьми- или тридцатилетних, как и он, мужчин в белых халатах и в наимоднейших туфлях. Пристрастие к модным туфлям у мужчин такого возраста — общая слабость, как я заметил. И никого бы я за это не осуждал, — хорошо начищенная, изящная обувь красит мужчин не меньше, чем женщин. И вот, сгрудившись, как уже сказано, вокруг стола Ларионова, приятели обсуждали положение дел с Барыбой, и велось это обсуждение примерно в таком духе:

— Ты погиб, Аркаша! Плакала твоя заграничная командировка. Ребята, кто одолжит Аркаше Ларионову чемодан? Он едет в Барыбу!

— Он не поедет! Ставлю сто рублей против папиросного окурка, что он не отдаст Парижа за Барыбу, не говоря уж об Амстердаме и Брюсселе!

На эти возгласы Ларионов отвечал:

— Ребята, не галдите, а давайте-ка лучше разберемся, почему так: когда бумажкой шуршат крысы, то говорят — это мышиная возня, а когда той же бумажкой шуршат люди — это уже работа? Необъяснимая вещь, а?

— Держу сто рублей против папиросного окурка, что не видать тебе ни Парижа, ни Брюсселя, ни Амстердама!

— Зато увижу степь! — весело отвечал Ларионов. — Степь и стройка — что может быть лучше? Красивые люди на прекрасной земле! Аромат травы! Бездонное небо! И стрекочут бульдозеры. Чем хуже Парижа? Ребята, кто одолжит чемодан?

— Ты же купил новый для Парижа!

Ларионов пожимал плечами:

— Новый тащить в Барыбу! Там ветра́, пыль, верблюжья колючка на голой земле.

— Э, брат, а я уже подумал: какой романтик!

— Я не покупал чемодана, черт возьми! Хотел, да попался томик Заболоцкого, десять рублей отдал перекупщику! Вот стихи! Слушайте:

Когда огромный мир противоречий
Насытится бесплодною игрой, —
Как бы прообраз боли человечьей
Из бездны вод встает передо мной.

Не успел Ларионов дочитать эти стихи, как вдруг ему крикнули из-за перегородки:

— Аркаша! Борода зовет!..

Ларионов поспешил к Бороде — так звали начальника, настоящее имя которого было другим, его полное имя и отчество было Гагий Агамович, но так как редко кто из проектантов мог выговорить эти два слова без запинки, то и обходились прозвищем «Борода», тем более что таковая у Гагия Агамовича была. И вот, позвав к себе Ларионова, Борода минут двадцать держал его в своем кабинете. И о чем там шел у них разговор, никто так и не узнал, но вернулся Ларионов к своему рабочему месту возбужденный и молчаливый, чему все удивились. До разговора с Бородой у молодого инженера было недурное настроение. Да и вообще он слыл по характеру человеком общительным и милым, и это само бросалось в глаза при взгляде на его крепкое, темнобровое лицо, всегда чисто выбритое, с приятным выражением умеющего себя держать парня, компанейского и в то же время делового, способного, когда надо, поработать в пол-

ной сосредоточенности. Но тут все увидели, что со старшим инженером творится что-то неладное.

Задумчиво опустив стриженую голову на руки и ни с кем не переговариваясь, он просидел у своего кульмана после разговора с Бородой больше часа и только шумно время от времени вздыхал. И все уже понимали — разговор там, в кабинете у Бороды, был не из приятных, чего, собственно, и следовало ожидать.

Тут надо принять во внимание вот что: в дополнение к своей бумаге Сенчихин еще и звонил вчера Бороде и серьезно внушал ему, что руководитель должен знать, чем занимаются его сотрудники, когда ездят на места строек, руководитель отвечает за все, в том числе и за морально-этическое поведение своих подчиненных. В общем, досталось Бороде, а уж от него, вероятно, досталось и Ларионову.

Почему же мы озаглавили эту часть нашего повествования «Все идет как надо», если в жизнь одного из ее действующих лиц явно вторглось что-то очевидно же неладное? У Ларионова даже, говорят, жилы вздулись на лбу в то утро от размышлений. И не то что лоб, а и нос у него морщинился в некоторые моменты. И не раз он кроме горестных вздохов еще и досадливо крякал, как бы сожалея о чем-то содеянном, чего уже, наверное, и не поправишь. Все это давало право заключить: в жизни парня что-то пошло как раз не так, как надо. И если мы все же выразили в заголовке нечто противоположное, то только лишь вот по какой причине: когда Ларионов наконец очнулся от своих раздумий и оглянулся вокруг, он, разумеется, встретился тут с настороженными взгля-

дами своих коллег, и те вдруг услыхали от него такие слова:

— Ничего, ребята, все идет как надо...

— То есть? — спросил у него один. — Что куда идет и как именно надо?

— Я еще поартачусь, я им в лапки так не дамся, — последовал ответ.

Весь остаток дня Ларионов работал как зверь, а работать он умел, недаром когда в главке недели две-три назад возник вопрос о посылке людей в заграничную командировку по маршруту Париж — Брюссель — Амстердам, то выбор пал на него, еще же, в сущности, молодого инженера. Но хоть и молодой, Ларионов уже вполне мог считаться мастером своего дела, и он это доказал не только удачным проектом по Барыбе, а и рядом других уже осуществленных по его проектам строек.

Кстати, как раз сейчас он и его группа разрабатывали новый проект стройки дамб на Пирипонском озере, и дело уже пахло еще более крупной премией, чем за Барыбу.

Но в тот день вся группа, отложив пирипонские дела, поднажала на рабочие чертежи по Барыбе, — нате вам, извольте, еще на целых полгода, и молчите.

Удручало ребят лишь то, что их Аркаша пребывал весь этот день в состоянии какой-то яростной запальчивости, и особенно хмурился он почему-то, когда его задевали женщины, которых в мастерской было на взгляд одних — маловато, на взгляд других — предостаточно. И странно то, что Ларионов, принадлежавший до сегодняшнего дня к первым, вдруг

по какому-то поводу в конце дня, прошедшего в сосредоточенной, жаркой работе, заметил, хмуря брови:

— Что это у нас баб так много стало?

После работы, вечером, Ларионов гонял шары в бильярдной клуба архитекторов и говорил партнеру по игре, что с женщинами, даже самыми интересными, лучше дела не иметь. А партнером Ларионова был известный хирург очень пожилых лет, вечно взлохмаченной головой все еще напоминавший студента. Человек этот, тоже любивший бывать часто в клубе, где, казалось, кого угодно можно встретить, любых знаменитостей, хирург этот, сказал я, слыл как раз большим поклонником женской красоты и, понятно, никак не соглашался с женофобскими утверждениями молодого инженера. На седьмом десятке лет хирург позволял себе утверждать, что женщины — это лучшее из того, что есть на свете. Ларионов, однако, твердо стоял на своем. Разбивая очередную пирамидку, он говорил, что при всем уважении к почтенным годам и славе хирурга не изменит своего мнения, и если на свете действительно ничего лучшего нет, чем женщины, то куда этот свет годится вообще?

— Вы глубоко заблуждаетесь!

— О нет, ошибаетесь вы!

— Нет, вы!

— А я говорю — вы! . .

Так они спорили и гоняли шары. И здорово гоняли, люди со стороны просто любовались — надо же так уметь! А что касается предмета спора, то поведение публики известно — одобряли и хирурга, одоб-

ряли и Ларионова. Весело, хорошо играют, чего еще надо, — на то и отдых, черт возьми!

Надо бы тут вот что объяснить: даже пока еще поверхностное знакомство с Ларионовым, право, не дает никаких оснований подозревать его в черствости. И тем более — в женофобии. И в самом деле — человек, который купил томик стихов Заболоцкого вместо чемодана, должен все-таки иметь что-то божеское в душе. Божеское в смысле, скажем, определенного влечения к прекрасному. И, не желая играть здесь на том, что женщины-то как раз и относятся к прекрасному полу, скажем другое: кто любит поэзию, уж во всяком случае не станет чернить этот пол.

Можно не идеализировать женщин, не все же они ангелы, но не видеть то доброе начало, которое заключено в них, тоже нельзя. Тем более это непозволительно для любителей, говорим мы, настоящей поэзии. А что Ларионов из их числа, нет сомнения, мы видели это по отличным стихам, которые он прочитал своим коллегам утром на работе.

Так что же с ним произошло? — вот что после всего сказанного все же остается неясным. Тем более — до таких крайностей в оценке женщин наш Ларионов, по моим сведениям, никогда раньше не доходил. Да и было бы просто противоестественно: нормальный мужчина тридцати лет вдруг заладил такое, — и вернее всего было предположить, что в этот вечер на него просто нашло дурное настроение. А тут еще ему не везло в игре — он просадил поклоннику женской красоты все партии, после чего оба пошли пить черный кофе в буфет, где звучал веселый смех нарядных женщин.

— Куда от них денешься, милый, — сказал хирург.

— Вот это другой вопрос, — отозвался Ларионов тоном человека, готового признать все беспомощное положение мужчин. — Но не должно быть на то доброй воли!

— Ах, шер ами! — сказал хирург. — Что касается меня, то я ничего другого не желал бы. Женщины — это чудо, уверяю вас, чудо природы!

4. О ЛЮБВИ И КОСНОСТИ

Итак, ход событий нашей повести, пока еще не очень бурных, заполненных больше ведомственными перипетиями, нежели, как говорят актеры, волнительными переживаниями, ведет нас в Барыбу. И мы уже знаем, что туда едут Титова и Агеев. А Ларионов еще не собрался и тянет, за что, попросту говоря, ему вполне могут всыпать.

Отчего ж не поехал Ларионов, в самом деле, отчего не сел в поезд вместе с Титовой и Агеевым? Неужели герой наш решил всерьез исполнить свое намерение «поартачиться», что, разумеется, было бы крайне неразумным поступком? За это ему бы действительно «всыпали». Да и рассудим еще так — годился ли бы такой недисциплинированный и неисполнительный человек в герои? Нет, не таков Ларионов, чтобы по глупости наломать дров. Не водилось за ним такое. В разумных пределах он всегда был и достаточно дисциплинирован и вполне исполнителен, с одной, правда, оговоркой — одновременно он бывал часто и очень строптив. И если вы спросите, как же

уживались в нем эти противоречивые качества, то и на это есть ответ: уживались, более или менее уживались. Иногда более, иногда менее. И в зависимости от меры уживчивости это сопровождалось, естественно, то бо́льшим, то меньшим ущербом для носителя этих качеств. Тем он и был известен в своем кругу. Знали: этот все сделает, но сперва поволынит. И так про него и говорили: «Лариосик дело знает, только пошуметь любит, так ведь он молодой еще, а вообще парень хороший, все сделает, не волнуйтесь».

Самый несерьезный довод среди причин, заставивших его задержаться в Москве, был бы тот, что он не достал так скоро чемодана и все ездил в магазин «Лейпциг» в тщетной надежде там его достать. Но это, конечно, чепуха, и точно так же не выдерживает критики допущение, что его не устраивало общество Титовой и Агеева.

Нет, тут дело посложнее. Прежде чем взять командировку и расписаться в получении проездных, суточных и прочих подотчетных сумм и отправиться на городскую станцию за билетом на поезд — самолеты на Барыбу не ходят, — он должен был сначала переварить и перебороть в себе не только обиду на потерю такой блестящей возможности, как поездка в Париж — Брюссель — Амстердам, но и кое-что еще.

Намек чувствуете, нет?

«Кое-что еще», — заметили? Если нет, то возьмите пример с Сенчихина. Этот недаром обронил по телефону слова насчет того, что тут дело пахнет чем-то «наводящим на размышления», на что последовал вопрос Мостового: «Интрига, что ли?» После чего, если помните, Сенчихин обещал дня через два-три сооб-

щить кое-что дополнительно по тому же вопросу. Так вот — такое дополнительное сообщение состоялось, и поскольку то, о чем говорят между собою начальники, всегда важно знать, тут же послушаем их разговор и скажем лишь, что состоялся он в том месте у Библиотеки Ленина, где машины дожидаются начальников, обедающих в расположенной через дорогу столовой для ответственных лиц. Вот у своих машин-то как раз и встретились после обеда Мостовой и Сенчихин и на ходу поговорили, причем начался разговор с вопроса Сенчихина:

— Вам вчера доставили травы, Александр Макарович? Я послал их вам с нарочным.

— Спасибо, получил, — отблагодарил Мостовой, ковыряя спичкой в зубах. — Я, кстати, вчера же дал заварить и попробовал. Ничего как будто, травы вообще штука хорошая.

— Народная медицина — сила! Никто отрицать не станет, — сказал Сенчихин.

Продолжение разговора последует, не беспокойтесь, мы только представим вам для большей наглядности внешность наших ответственных собеседников.

Очень солидны и приятны оба, это первое. Начать хотя бы с одежды. На Мостовом был добротный габардиновый макинтош, и на Сенчихине был такой же макинтош. На Мостовом — шляпа без всяких вмятин и изгибов, и на Сенчихине была такая же. Какими они, шляпы, из магазина вышли, такими в неприкосновенности и сидели на головах уже упомянутых нами особ. А цвета они, шляпы, были благородно-серого, и такими же по цвету были макинтоши, длинные, чуть не до пят, и до того просторные, что напоминали

рясы, хотя покрой их был спортивный, с кокеткой сзади и спереди и со сшитым из того же материала поясом, который, ввиду прохладной в этот день погоды в Москве, был затянут на животе того и другого, то есть Мостового и Сенчихина. А в остальном, если взять их фигуры, выражение лиц, то тут уж такой схожести не было. У Сенчихина рост был повыше, у Мостового пониже. У первого лицо было узкое и длинное, с умеренными морщинами, нормальными для его пожилого возраста, у второго лицо было почти черным и скуластым и даже для его лет — этак под шестьдесят — казалось чересчур измятым и одутловатым, хотя и с меньшим количеством морщин.

Вот и все пока, пожалуй, об их внешности. Еще бы глаза описать, глаза всегда выражают многое, но по голубовато-водянистым выпуклым глазам Сенчихина вы бы не могли определить, что́ они выражают. А у Мостового они сидели так глубоко, что вообще были едва заметны, и только две искорки теплились в них лукаво и даже, я бы сказал, по-мужицки хитровато, так что сразу наводили на мысль: «Ух, какой бывалый дядя! . .»

Теперь, я думаю, можно продолжить их разговор, а шел он так.

— Коробкова сняли, — рассказывал Сенчихин про дела человека, не имеющего никакого отношения к нашей повести. — Вместо него будет Янчевский.

— Черт знает что! — щурил глазки Мостовой. — Везде безобразия, распустился народ. Но с этим же нельзя мириться, даже если перевернуться кверху ног. . .

— Конечно, согласен, — подхватил Сенчихин,

пряча усмешку, которую у него всегда вызывала любимая поговорка Мостового. — Кстати, о нашей Барыбе, чуть не забыл: кое-что прояснилось, Александр Макарович.

— А именно?

Сенчихин показал два пальца:

— Две.

— Что две? — приоткрыл шире глазки Мостовой.

— Девицы.

— Какие девицы, господи боже?

— В прошлом году была одна, сейчас их две, — все держал кверху свои два длинных-предлинных пальца Сенчихин, и саркастическая усмешка обнажала его рот с такими же длинными зубами. — Точно знаю, что именно они, эти девицы, и написали в редакцию. То самое письмо!

— Ну-ну? — заинтересовался Мостовой и еще шире раскрыл глазки. — А что за девицы?

— В отпуск приехали к кому-то на стройку. В прошлом году, летом, одну из них видели с Ларионовым, который тоже туда ездил, если помните. А в этом году их уже две особы приехало, и, наверное, из того же «пикового интереса», ради, стало быть, того же самого дружка.

— Господи боже, да выражайтесь яснее, милейший Евгений Петрович, мы же не на коллегии, крутить нечего, говорите делом!

— Тут любовная история, если хотите знать.

Мостовой поднял на собеседника тяжелый взгляд, и было в этом взгляде что-то очень осточертелое, глубоко засевшее, невысказанное. И говорил этот взгляд

вроде так: да, брат, давно мы с тобой знаем друг друга, и лучше уж ты не трогай меня, и я тебя не трону. Не будем касаться того, что мы с тобой знаем и о чем всегда молчим. И надо отдать должное Сенчихину — он все это во взгляде Мостового тотчас уловил и не стал больше распространяться о любовной интриге, в которой он подозревал Ларионова и которая — будь это так — была бы неприятна Мостовому, поскольку Ларионов был недавно еще женат на его племяннице, а старику, конечно, больно слышать о новых амурных похождениях молодого человека, пренебрегшего — так получается, — родством с таким человеком, как Мостовой, и тем самым даже отказавшегося от его протежирования — так уж получается, — а это, конечно, ранит самолюбие. Обидно, что ни говори, и, пожалуй, хватит и нам касаться этой щекотливой темы. У ответственных работников даже одного ведомства бывают взаимные счеты, и это их дело, в конце концов. Послушаем лучше, о чем они дальше вели разговор.

— Любовная интрига? — недоумевал Мостовой, уже погасив свой взгляд, поскольку Сенчихин всем видом своим показывал готовность ни на чем не настаивать, а, наоборот, соглашаться. — Что вы, Евгений Петрович, какая там любовная интрига? Ежели бы это и было, то при чем тут тогда письмо в редакцию, а? Чепуха, голубчик. Это вам тень на плетень наводят ваши же подчиненные, связанные с Барыбой, а я вам скажу другое: плохо работаем — вот что, а признаваться не хотим и всюду ищем виноватых. Народ туда поехал, вот что скажите мне?

— Поехал.

— Надо бы и нам с вами туда, ежели по совести, — сказал Мостовой, и, когда он сказал это, Сенчихин подумал, что Мостовой, наверно, только что вот здесь, у машины, принял такое решение и это ему, Сенчихину, отплата за «любовную интригу», и он уже пожалел, что черт догадал дернуть его за язык, а Мостовой тем временем продолжал: — Зачерствели мы тут, забюрократились. Сидим, понимаешь, без конца заседаем, штаны протираем. А надо туда, в глубинку, брат, туда, туда, где жизнь кипит! Что Ларионов, наш дружок, как вы его называете, уже выехал?

— Нет, Александр Макарович, еще не выехал.

— Ну вот, а вы говорите «любовь»! — злорадно расхохотался Мостовой. — Было бы это так, он бы на крыльях первым полетел туда! Что? Не так? Где же тогда ваша любовь?

— Согласен, Александр Макарович, но. . .

— Любовь! — твердил свое Мостовой. — Нет, глупости это! Просто плохо работаем — и всё. Перестраиваться нам скорее надо, инертность преодолевать, рутина и косность — вот, брат, главное. Гоните туда без всяких Ларионова — он шутки шутить вздумал. Я его знаю, он с ячеством парень. Ему палец в рот не клади. Ну, бывай, а то мы с тобой заговорились, другим тоже обедать охота, а мест, где машины ставить, мало. Прощай, я думаю, в Барыбе мы с тобой обязательно побываем. Не грех, не грех, не морщись, брат! . .

Такой разговор состоялся в послеобеденное время у стоянки автомашин между двумя ответственными, как мы уже знаем, товарищами. Оба стояли, напомню я, в длинных серых макинтошах и шляпах среди шума

и сутолоки улицы Калинина и разговаривали, а потом сели в свои машины, тоже очень солидные, и разъехались, а освободившиеся места тотчас заняли другие, такие же солидные машины, и выходили из них начальники в точно таких же макинтошах и шляпах, как у недавно стоявших тут Мостового и Сенчихина.

5. ВИД С ДАМБЫ

Пора, пора и нам ступить ногой на пыльную, морщинистую землю Барыбы.

Вот она, наконец, перед нами, и для удобства обозрения я попросил бы вас представить себе, что стоим мы с вами на берегу большого водохранилища и осматриваемся окрест, и ветер, сухой и душный, свищет нам в лицо, а с неба палит невозможно жаркое солнце. И сначала, глядя на водохранилище, необъятное, как море, — да его, кстати, морем и зовут, — нам начинает казаться, что ничего больше нет на земле, кроме этой пустынной, прогретой до дна зеленоватой массы воды. Но вот, повернувшись в сторону, мы замечаем: тянется до горизонта бурая степь, вся похожая на затасканный, старый ватник. И поневоле с тревогой стараешься вспомнить: да есть ли на земле еще что-нибудь, кроме этого серо-бурого, выжженного солнцем и почти еще необжитого пространства?

Барыба, Барыба, чертова ты дыра, разве не так тебя называют приезжие, работающие здесь на стройке рыбхоза? Среди строителей местных маловато, да

и откуда им взяться? Из окрестных поселков? Так их вблизи почти нет, — есть один, да до него девять километров, да и в том поселке две трети приезжих. А магазин там плохой и буфета вовсе нет. А до железнодорожной станции, как оттуда, так и отсюда, целых пятнадцать километров. Там, где станция, — районный центр, ну, и, конечно, уж магазины получше, есть и буфет при вокзале, и ресторан тут же, есть и кинотеатр, и баня, и парикмахерские. А в Барыбе ничего этого нет. Здесь во всем поселке не больше десятка финских домиков, а в них живут строители, главным образом экскаваторщики, бульдозеристы, шоферы, каменщики, бетонщики, слесари. Ну, и контора еще есть. В коридоре там стоит бачок с кипяченой водой и висит стенная газета за седьмое ноября прошлого года. И не удивляйтесь, если из-за дверей услышите то стук пишущей машинки, то звонки телефона, контора есть контора, и надо помнить — стройка ведется не только при помощи современных машин, но и современных средств связи и переписки.

Что такое, в сущности, медвежий угол, скажите, пожалуйста? Возьмем ту же Барыбу. Всмотритесь хорошенько — ведь это водохранилище, огромная эта водная гладь, вполне заслуженно названная морем, к вашему сведению, еще недавно вовсе не существовала. Она создана человеком! Его ум, труд, воля и талант преображают все. И — смотрите, смотрите! — стоим-то мы не просто на берегу, а на земляной дамбе, насыпанной бульдозером или экскаватором, и чуточку вправо повернитесь, — эва, сколько дамб этих понарыто вдоль берега, замечаете? И думаешь с некоторым даже изумлением: ого!

Кажется, представление о Барыбе у нас уже есть достаточное, и мы можем перейти к дальнейшим событиям, памятуя, что всякие описания бывают и неполными и неточными. Всегда чувствуешь в них какую-то односторонность, потому что все, в конце концов, зависит от взгляда на вещи. Одному ставка зарплаты все диктует, и он ворчит. А другому дело не в ставке, — на бульдозере или на экскаваторе, скажем, заработки не столь уж плохи, — а надо ему, скажем, чтоб буфет был, вот он и рвется отсюда. А третьему — представьте и такое — здесь просто нравится, как вот, например, дочке бухгалтера стройки Ане Климушкиной. Она и в прошлом году приезжала сюда летом провести отпуск, а в этом, недавно вот, снова приехала, да не одна, а еще и подружку свою притащила, Зину Терехину, и сейчас обе проводят здесь свой отпуск. И ничего, не рвутся скорее уехать, им тут хорошо.

Иной скажет: они здесь не работают, а отдыхают. Побудут еще немного и уедут. Это, мол, просто. А ты тут зиму поживи, осеннюю грязь помеси, это другое дело. Но, собственно, что тут делать учительнице? — а ведь Аня-то как раз и есть учительница. И чем тут заниматься технику по автоматическим линиям? — а именно по этой специальности работает Зина, подружка Ани. В Новочеркасске, где обе живут, есть и школы и заводы, а здесь их нет.

Вы уже догадываетесь, я думаю, что Аня и Зина и есть те девушки с порывами, которые... и так далее, — да, это они, они, и вот, кстати, удобный случай с ними познакомиться. Обе только что выкупались в бронзовом от заката водохрани-

лище и, казалось, сами стали от этой воды бронзовыми.

Не только их тела, а и купальники имели золотистый отлив, но, видимо, скорее всего, это был отсвет заходящего солнца.

И пока девушки во всю прыть неслись к откосу дамбы, где лежали их полотенца и халатики, позолота не сходила с их спин. Но когда они, девушки, вбежали в тень от дамбы, сразу стало заметно, что обе, видимо, пересидели в воде, — их трясло от большой потери тепла, и тела их, несмотря на загар, здесь, в тени дамбы, казались белыми и даже отдавали синеватым отливом. И еще бросалось в глаза, что уж очень худощавы обе, — особенно в верхней своей части, ребра были видны и у той и у другой. Но, впрочем, это уже излишняя подробность, и редактору предоставляется полнейшая возможность это вычеркнуть.

Действительно, может, и неудобно подчеркивать, что у главных героинь нашего повествования, когда они голые, ясно видны ребра, и единственным оправданием здесь может быть только одно: представляя своих героинь, автор хотел особенно отметить их худощавость. В данном случае худощавость обеих наводила на мысль и о скромном образе их жизни, и о том, что судьбой они не избалованы, и что кажется совсем уж бесспорным — на диванах с книжками мало валялись, а сызмалу много работали.

Вот так, уважаемый редактор, пришлось по необходимости немного отвлечься, и хочется надеяться, что после всего сказанного ничто не будет вычеркнуто из характеристики Ани и Зины. Обе девушки, я уверен, стоят того, чтобы любая касающаяся их под-

робность была отмечена. И, конечно, мы еще много о них расскажем. И постараемся, конечно, не упустить и все то, что заставляло даже при одном чтении их письма в редакцию предполагать наличие у обеих девушек каких-то порывов, и, таким образом, я надеюсь, будет отведен в сторону возможный упрек в том, что, сказав о некоторых особенностях их фигур, мы ничего не сказали о душевных качествах, — всему придет свой черед, дойдем и до этого, дойдем!

А пока обратим все же внимание на то, что героиням нашим идет третий десяток, а они еще худощавы, по-мальчишески проворны и легки. Ведь смотрите: в одну минуту добежали, схватили свои полотенца, раз-раз — и уже тянутся к другим предметам туалета. Просто удивительно, как все у них горит в руках, хотя они и не спешат вовсе, торопиться им некуда.

Обе стрижены, и обратите внимание, с какой быстротой одна причесала гребнем свои бесцветные волосы, чтобы хоть как-то уложить их в подобие прически, и с какой мгновенной скоростью вторая надела тапки и завязала какие-то замысловатые шнурки. При этом обе успевали еще что-то говорить, смеяться друг над дружкой, оглядываться вокруг и вытряхивать, прыгая на одной ноге, воду из ушей.

У кого же бесцветные волосы, спросите вы, у Ани или у Зины, и мы ответим на это так: хотя волосы более бесцветны, то есть более напоминают паклю, у Ани, именно Зина склонна уверять, что у нее «бесцветная внешность». И, пожалуй, это так и есть. У нее не только волосы, а весь вид какой-то неброский, серенький, хотя губы она ярко красит, чего Аня, кста-

ти, не делает. Работая в школе, неудобно губы красить. И глаза у Зины подчеркнуты черным карандашом, и серьги у нее в ушах крупные и напоминают кольца цыганки. И не правда ли — странно, что, несмотря на все это, у Зины действительно простоватая внешность, а вот Аня при совершенно бесцветных волосах все-таки «впечатляет», хотя и не назовешь ее раскрасавицей, просто — заметишь ее в ряду других. Что-то в ней такое есть, одним словом. Но, в сущности, то же самое можно было бы сказать про Зину, — и в этой тоже что-то было, уж очень у нее по-серьезному светились глубоко сидящие глаза, в отличие от серых Аниных они были карими, а брови, совсем незаметные у Ани, у Зины имели строговатую линию. И чувствовалось — эта как сдвинет их да скажет что-то резкое, то уж держись. А у Ани характер был помягче. Но общее впечатление, надо сказать, обе оставляли хорошее, я бы сказал — достаточно симпатичное.

Послушаем теперь, о чем шел у них разговор.

Аня (повязывая голову полотенцем на манер фаты). Ничего не выходит, хоть плачь.

Зина. Дай! (Отбирает у подруги полотенце.) Вот как надо, милая! Ты что, когда расписывалась, без фаты была? Али уж забыла?

Аня. Какая там фата, господи! А у тебя была разве?

Зина. У собаки хата была? Нет, просто я, правду сказать, не раз примеряла, когда собиралась выходить за Валерика. А он у меня передовой был и отсоветовал, сказал: лучше так...

Аня. У меня тоже все было так... без излишеств.

З и н а. Вот именно... (Возвращает полотенце Ане, и та водружает теперь у себя на голове некое подобие чалмы.) Не в фате счастье.

А н я. Чем не принцесса, правда? (Церемонно приседает, кланяется, пытаясь рассмешить Зину, но это не удается.) Слушай, подружка! (Резко меняет тему разговора.) Что будем делать сегодня, а?

З и н а. Ждать будем.

А н я. Чего ждать, Зинок?

З и н а. Не знаешь? Принцессам остается одного ждать — принца.

А н я (грозя пальцем, по-учительски строго). Оставь! (И смотрит на Зину, чуя: та задумала что-то.) Мой папа говорит: не стало принцев, вывелись.

З и н а. А у нас в цехе принц на принце, и все мне руку предлагают, представь. Руку братской помощи и дружбы. Смотрю я на них, на миленьких принцев этих, и думаю: где вы прежде были, до гибели моего Валерика и до того, как я стала мастером пролета?

А н я. Я понимаю тебя... Только не будем сейчас об этом, ладно? Невезучие мы, что делать...

Я не берусь в точности повторить все то, о чем говорят между собой девушки, пока одеваются и приводят себя в порядок после купания. Это и не нужно, да и, помимо всего прочего, было бы даже нескромно с нашей стороны: мало ли чего не наболтают молодые особы в минуту, когда они в хорошем настроении.

Поэтому приведем здесь лишь следующий отрывок из разговора девушек, как мне кажется, гораздо более важный, чем все предыдущее.

Зина. Поедем на станцию, хочешь?

Аня (как можно равнодушнее). А там что?

Зина. Вдруг какого-нибудь принца да встретим. А вдруг!

Аня. Ладно. Вдруг ничего не бывает.

Зина. А все-таки, Анусь! Ну вдруг и да! Сама говорила: надо верить.

Аня. Будет тебе...

Зина. Едем,Ануська, сама же хочешь, а делаешь вид. Учти: есть оказия. Я слышала, как эти... ну, которые понаехали из Москвы, выпрашивали у директора его «бобик». Там хватит мест при желании.

Аня. А кто едет? Титова эта?

Зина. Она. Едет себя показывать модницам райцентра.

Аня. А еще кто?

Зина. Агеев, если угодно. Едет за рыболовными крючками.

Аня. Мне все равно, для чего они едут.

Зина. Так махнули? (Она уже повеселела, глаза горят.)

Аня. Ладно. (Старается не глядеть в глаза подруге.) Только знаешь что? Твердо условимся: не заводить никаких разговоров с этими приезжими, ладно? Будто мы ничего не знаем, ничего не понимаем. Ну их к монахам!..

Зина (схватив голову Ани, повернула к себе). И Ларионова твоего к монахам?

Аня. Ты же видишь, не едет, не спешит принц мой! (Пора бы Зине отпустить голову Ани, разнять руки, необычно, кстати сказать, сильные для девушки, но она этого не сделала, а, наоборот, сжала мягкое

лицо Ани еще крепче. Зная, как бесполезно сопротивление, Аня жалобно стонет.) Ну чего тебе еще, злодейка?

Зина. Смотри! Я твоего Ларионова в обиду не дам!

Аня. Но если он мой...

К сожалению, ей так и не удалось докончить начатой фразы, потому что где-то близко раздались голоса, и, оглянувшись, Зина наконец выпустила из рук голову подружки и воскликнула:

— Смотри, Титова и Агеев уже в дорогу собираются!

Аня, получив свободу, с быстротою мага накинула на себя свой халатик, прихватила с откоса халатик подружки и кинулась бежать вдоль дамбы, крича:

— Теперь ты у меня поплачешь, чертовка, побегаешь неодетая, я тебе сполна отплачу!

И вот уже не видно ни той, ни другой, обе скрылись за высоким земляным валом и борются там где-то на дне будущего пруда за халатик, — ну и пусть балуются девушки, на то и молодость. Мы же, я думаю, не должны упустить случая повстречаться с Титовой и Агеевым, — вот они появились из-за другой дамбы.

Он — в светлой шляпе и синем плаще-болонье, непомерно коротком для его длинной фигуры, но зато придающем ему при седых волосах бравый, молодцеватый вид, и надеюсь, вам уж ясно: это тот самый Агеев, на чье имя, если не забыли, была передана телефонограмма и который был охарактеризован некоей Брук, принявшей телефонограмму, как «наш старейший сотрудник».

А Титова тоже немного уже знакома нам по телефонному разговору, — помните? — требуя ее к себе, начальник назвал ее умницей, так вот это она и есть. Видите, проявила благоразумие, не стала ерепениться и поехала в Барыбу, а не в Сочи, как предполагала: служба, что поделаешь. Недаром же она, Титова, слывет у себя в тресте толковым инженером, это все знают. Зовут ее Ириной Романовной, лет ей под тридцать, и, добавим, внешне она довольно мила, отчасти, быть может, потому, что всегда хорошо одета. Сейчас, например, на ней было очаровательное цветастое платье, достаточно короткое, чтобы не сказать больше, и такой же цветастый платочек красовался у нее на голове. И платочек этот из легчайшего капрона имел лишь одно назначение — удерживать пышные завитки волос, только и всего, а уж сегодня они у Титовой особенно пышны, просто роскошны. Взглянешь и залюбуешься надолго, — хоть на бал, на дипломатический прием, не то что в райцентр. Но Титова всегда во всеоружии, мало ли как бывает... Даже в райцентре может встретиться принц, как мы уже слышали, а ведь именно туда она и собралась.

Ну, и, в конце концов, и она и Агеев имели полное право немного отдохнуть, развлечься после двух дней хождения по дамбам и сидения в конторе. Утомительное дело разбираться в делах стройки, тем более после того, как в редакцию, а затем в министерство попал сигнал. Наглотались они, Титова и Агеев, за эти два дня барыбинской пыли вдосталь! А сколько цифр перебрали, копаясь в сводках и отчетах о ходе работ, — в глазах могло зарябить. И все это еще только был приступ к главным экспертным заключе-

ниям. Причем поскольку Титова представляла трест, то ее интересовало свое, а поскольку Агеев представлял управление, то его, естественно, интересовало совсем другое. Между Агеевым и Титовой царил даже дух некоторого недоброжелательства, правда, не очень сильно выраженного и совсем пропадавшего, когда они отставляли дела в сторону. И факт же: как в поезде были вместе, так и сейчас — вместе едут в райцентр и в ожидании машины премило беседуют между собой, прохаживаясь вдоль дамбы.

Поселка стройки мы еще не видели, а он рядом, вон, в самой середине этой несметной кучи земляных дамб. До поселка два шага от берега, но из-за этих дамб даже крыши конторы не видно, тем более не увидишь за ними человека. Только тогда его замечаешь, когда он идет вдоль дамбы, а как завернул за край откоса или перевалил на ту сторону земляного вала — уже и след простыл. И точно так же внезапным кажется и появление человека: не было перед тобой никого — и вдруг, как из-под земли, навстречу тебе идет кто-то.

Именно так недавно появились перед нами Аня и Зина, а только что — Титова и Агеев, и пожалуйста, познакомьтесь еще с одной героиней нашей повести: вон чуть не прямо перед носом у Титовой и Агеева возникла курьерша конторы тетя Ариша, она же и техничка и сторожиха, очень милая старушка в ситцевом платье с фестивальным рисунком. И если вас удивит, почему рисунок на платье такой, то объяснение тут простое: до Барыбы тетя Ариша работала в тех же примерно должностях в центральном аппарате министерства и была под непосредственным на-

чальством у Сенчихина, а с год назад ее сократили и по собственному желанию перевели сюда.

После всего сказанного, думается, никто уж не станет удивляться фестивальным флажкам на длиннющем платье тети Ариши, — ясно, материал на это платье она набрала давно, еще во времена Всемирного фестиваля молодежи в Москве. И оно, поверьте, еще имело вполне приличный вид, как все находили.

— Где наш директор? — спросила тетя Ариша. — Ему телеграмма из главка.

— А что случилось? Дайте-ка! От кого? — скороговоркой произнесла Титова, и в один момент телеграмма очутилась в ее руках. — Ого! Сенчихин едет сюда, сам Мостовой собирается! А Ларионов? Глядите, Агеев, — моя взяла! Он едет, уже выехал, ура, наконец-то! Сдался, умница!

Не правда ли — несколько чересчур бурно обрадовалась Титова тому, что Ларионов наконец-то, как она выразилась, «сдался, умница» и едет сюда? Тетя Ариша по простоте не обратила внимания, а Агеев — тот воспринял все по-своему:

— Сорвали человеку такую роскошную командировку. Париж! Брюссель! Амстердам!

А Титова восторгалась:

— Как я рада, что Ларионов, Лариосик наш приезжает. Ой, с ним хоть не подохнешь от скуки!

Агеев мужественно подхватил брошенный в его огород камень:

— Я реалист в жизни. Сугубый реалист.

— Подите к чертям, Агеев, — с милейшей улыбкой и совершенно дружеским тоном сказала Тито-

ва. — Вас же интересуют одни только рыболовные крючки.

В ответ на этот выпад Агеев галантно расшаркался и спросил:

— А вас что интересует, сударыня?

Титова не полезла за словом в карман:

— А меня — всё! «Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега».

Агеев тоже был не из тех, кто лезет за словом в карман.

— Грандиозно! Но это не ваши слова. Это стихи!.. — И вслед за тем, словно осененный внезапно какой-то идеей, Агеев забормотал: — Слова... Стихи... Слова... Стихи... Слушайте, — обратился он к тете Арише, которая все еще стояла тут, — а ну-ка, повторите, пожалуйста, за мной фразу: «Семь сумрачных советских служащих составили смету социального страхования». Только быстро! Всё тут с буквы «с». Ну! «Семь сумрачных советских служащих...»

— Вы что издеваетесь над бедной женщиной, чудовище! — накинулась Титова на Агеева. Она вернула телеграмму тете Арише и силой потащила Агеева в конец дамбы, где пролегала проезжая дорога. — Машину прозеваем из-за ваших глупых чудачеств!..

6. ЧТО ПРОИЗОШЛО ВЕЧЕРОМ

Поездку в райцентр мы не станем описывать, это просто ни к чему, ничего это не прибавит к тому, что мы знаем и что должны узнать.

Займемся лучше другим: вот, представьте себе, уже свечерело. Уже ночь, собственно, звезды горят в небе, а внизу, на земле, такая темень, что хоть человека зарежь — никто не увидит. И стоим мы с вами в самой середке стройки, то есть на небольшой площади, по краям которой смутно чернеют домики.

Тут и контора, и клуб, и столовая, и общежитие для приезжих, а около общежития еще разбиты две палатки. И что все это населено — слышно по голосам и узнается по огонькам в окнах, по мелодичной музыке из радиоприемников, по девичьим песням, доносящимся с берега, по хриплому говору бульдозеристов и экскаваторщиков, забивающих козла в пустом клубе. Если бы не эти звуки и голоса, к которым надо прибавить лай собак, то ночь казалась бы почти первозданной по тьме-тьмущей и безжизненности. И, несмотря даже на эти голоса и звуки, невольно думалось: какая глушь, действительно!

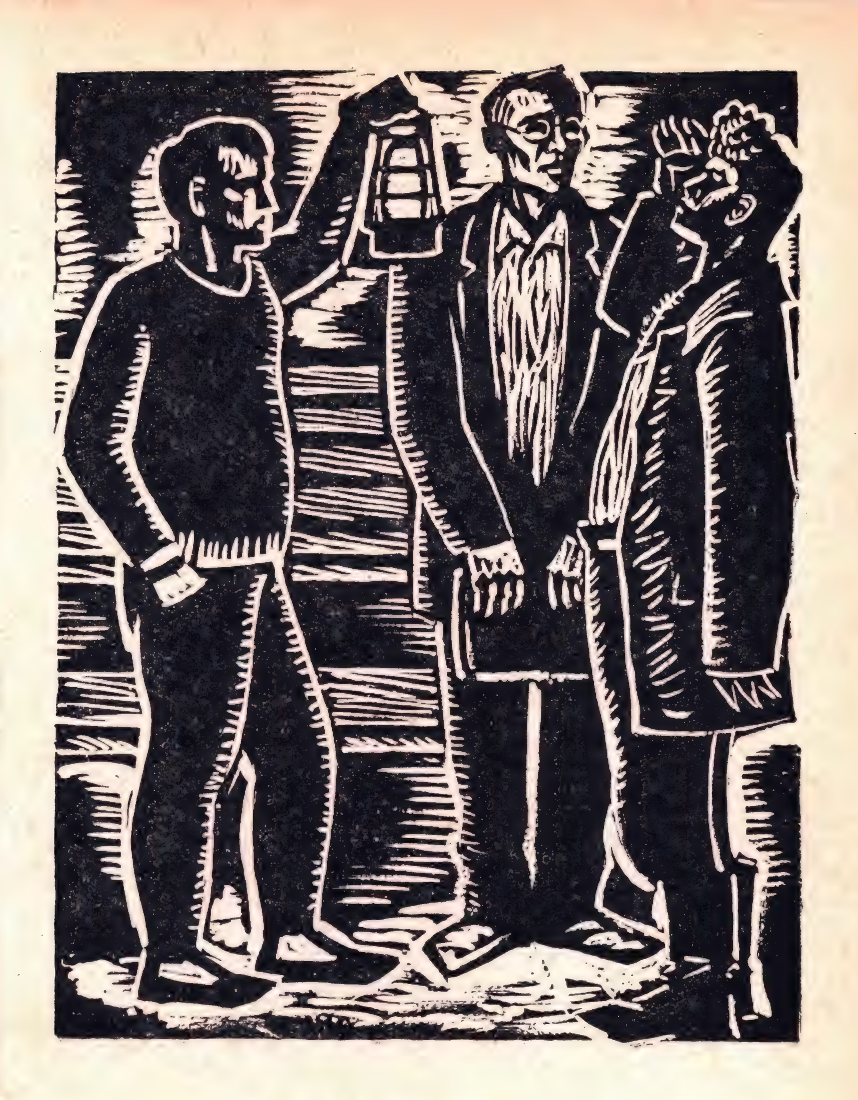
Вот кто-то вынырнул из мрака на тусклый свет, падающий из окна конторы, и, видно, все нипочем этому человеку — ни степь, ни ночь его не пугают. Ему весело, и он поет. Загулял, наверно. Ну, так и есть. Подвыпил, черт, и мешает спать тем, кто уже лег, пьянчуга, и не в первый раз это делает, подлец! И все знают, кто это. Ну Бульдеев же, Гришка Бульдеев — прораб стройки, известная личность. Поговорите с ним, и вы от него самого услышите признание, что образование у него — семь классов на двоих с братом. И как он, Гришка, попал в прорабы, этого даже не объяснить. Но, впрочем, сейчас он уже не прораб. Из-за начавшихся неприятностей в связи с известным нам сигналом он временно отстранен от работы, хотя

зарплата ему идет. И если к этому добавить, что же именно пел отстраненный прораб, пьянчуга этот, то представление о нем для первого знакомства можно было бы считать достаточным. А пел он вот что:

Эх вы, дамбы, мои дамбы,
Дамбы новые мои,
Дамбы новые, хреновые. . .

И так далее. . . можно, я думаю, не продолжать. Да ему и помешали, кстати. Как раз в тот момент, когда он собирался пуститься в пляс, из конторы вышли двое мужчин с фонарем. По уже принятому правилу мы тут же их представим. Один был директор стройки Рудаков — мужчина лет тридцати пяти, с бородкой, но все равно с виду почти мальчишка. На нем спортивная майка и синие тренировочные брюки из дешевого трикотажа, а голова, хотя и с начинающейся лысиной, подстрижена боксом, с челкой по всему лбу. Вот такой он был, директор. А второй был хоть и повыше его ростом, и постарше, и куда посолиднее видом, но чином пониже, а именно — это был бухгалтер здешний Климушкин, весьма уважаемый человек на стройке. От него шло все — зарплата, аванс, премия; от него, правда, шли и вычеты, но тут уж, как все знали, дело государственное, с этим поневоле мирились, зато уж что положено, то все до копейки будет тебе начислено, в своем деле Климушкин бог, — так его иногда и называли. «Что бог даст, то и будет», — можно было услышать часто среди рабочих. Слово Климушкина было здесь законом.

Бульдеев, черт конопатый, увидев этих двух хозяев стройки, все-таки не позволил себе при директо-



ре и бухгалтере пуститься в пляс и замер на месте, а директор сказал ему, посветив в лицо фонарем:

— И не стыдно тебе, Бульдеев? Чего орешь? Народ за день натрудился, отдыхает, а ты частушки какие-то!

Последовала такая сцена: отстраненный прораб выпрямился, насколько это ему позволяли винные пары, нарушившие какие-то очаги равновесия в его голове, он молодцевато отдал честь.

— Перед народом я — во! В струнку! И торжественно заявляю всему народу и вам: больше пить не буду, буду себя перевоспитывать.

На это Рудаков ответил, озабоченно потирая свою бородку:

— Ладно, Бульдеев, ты вот что! Подежурь в конторе до утра, а то мы с Климушкиным устали, с обеда на документах сидим.

Бухгалтеру полагается поддерживать директора, и Климушкин это сделал, сказав от себя Бульдееву:

— Ты же спал целый день, милый, валялся, говорят, где-то за кухней, так неужели не уважишь директора?

— Уважу, уважу, — без споров согласился Бульдеев. — Перед начальством я — во! В струнку!

— Вот это скорее похоже, а не перед народом, — заметил Климушкин, и, возможно, он высказал бы Бульдееву еще кое-что, но тут директор отвлек бухгалтера вопросом:

— Что «бобик» мой, вернулся?

Ответ был такой:

— Аня моя говорит, машина два раза портилась в дороге. Едва обратно дотянули. . .

«Аня моя» — слышали? — это дает нам повод напомнить, что бухгалтер — отец Ани. Где-то уже было сказано, да могло забыться, и уж попутно следовало бы сказать, что он очень любит свою дочь, а та — его. Хороший он отец, чуткий, отзывчивый, не строгий, живет здесь одиноко и рад, конечно, приезду дочери. Но когда директор захотел выселить штукатуров из одного финского домика и поселить там Аню и Зину, а штукатуров поместить в клубе, где все равно никогда ничего не бывает, то Климушкин сказал: «Не надо этого делать, мои девушки могут поспать и в палатке». Тут, в палатке, они сейчас и жили обе, а с ними поместилась и Титова, пожелавшая спать на свежем воздухе, а не в общежитии для приезжих, где нашел себе приют опасающийся простуды Агеев. И там же, кстати, жил и Климушкин со дня приезда сюда на работу, а было дело больше года назад.

А «бобик», как мы уже знаем, это директорский вездеходик, очень старый, он не выходил из ремонта. И куда на нем ни ездили, всегда он еле дотягивал обратно, и, как уже ясно со слов Климушкина, так случилось и на этот раз. Из поездки в райцентр все вернулись в добром здравии, но вполне могли заночевать в степи из-за непонятной утечки бензина. К счастью, все обошлось, домой кое-как добрались, и Агеев тут же отправился в свое общежитие спать. Зина и Титова тоже сразу забрались в свою палатку и легли. Одна Аня замешкалась — она училась когда-то водить машину и, имея некоторые шоферские познания, помогала сейчас механику гаража копаться в моторе загнанного вконец «бобика».

Услышав от бухгалтера о бедственном состоянии

«бобика», директор крикнул вдогонку Бульдееву, осторожно подымавшемуся на крылечко конторы:

— Ожидается приезд большого начальства, понял? Пошуруй в гараже и в случае надобности вышли что-нибудь исправное. И встреть и устрой, понял? Ну, валяй, валяй, служи народу, перевоспитывайся! . .

— Есть! — бодро отозвался с крыльца Бульдеев и скрылся за дверью конторы, где ему предстояло продежурить до утра, а Рудаков и Климушкин присели к стоявшему у клуба длинному столу.

Именно здесь, а не в клубе, происходили всякие совещания, заседания и даже собрания, каким положено бывать на стройках. Здесь заслушивались доклады и принимались резолюции, а вечерами, при хорошей погоде, разумеется, здесь сиживали парочки. Одним словом, простой этот дощатый стол, врытый нестругаными ножками в крепко утоптанную землю, многое перевидал и переслыхал за свой век. И без всякой иронии скажем, что можно было бы написать интереснейшую «Историю стола», подобно известному французскому роману «История кушетки», с той разницей, однако, что в то время как от кушетки можно услышать одни легкомысленности да любовные истории, стол наш, как старый ветеран, мог бы рассказать немало действительно интересных историй, серьезных и не менее, кстати, занимательных. Может, мы еще исполним свое намерение.

При свете фонаря Климушкин просматривал какие-то бумаги, которые лежали у него в папке, и Рудаков сказал:

— Наработались мы с тобой, Климушкин, хватит

в бумагах копаться. Документик у нас почти готов, а там посмотрим.

— Да, — закивал бухгалтер растрепанной головой, — великое дело документик... Дела человеческие...

— Ты брось, брось подтрунивать, — совсем добродушно, по-приятельски, но в то же время и начальственно сказал Рудаков, слывший, несмотря на молодость, человеком вообще-то покладистым и разумным, но любящим петушиться и поэтому на минуте мог трижды перемениться, то есть то бывал хорош, то плох, то опять хорош, то снова плох, но, видимо, все это шло от молодости. — Брось, — повторил он уже сердитее, надувая губы. — Я не тетя Ариша, я не хочу, чтобы на мне отыгрывались. И защищаюсь! Тут дело такое, что не мне одному может нагореть... Виноваты и они, — кончил Рудаков, делая рукой жест куда-то вверх.

А Климушкин и не подтрунивал вовсе. Он со вздохом сказал:

— Одним словом, они нас за это, мы их за то.

— Ну, старик, ты у меня просто министр, — повеселел Рудаков. — Сразу главную суть ухватываешь. Мне с тобой легко работать... Знаешь, охота еще разок поглядеть: что мы там сочинили? А ну-ка, давай почитаем!..

— Доклад о состоянии... Обеспеченность технической документацией. Организационная структура... Тете Арише так не сочинить...

Тут Рудаков взвился, точно ему наступили на ногу. Он выхватил из рук бухгалтера бумаги и крикнул яростно:

— Ты это брось!

Но немедленно вслед за тем директор произнес уже без всякой обиды, с полным добродушием:

— Ты это брось, брось, старик!

Он полистал бумаги в папке, вслух прочел:

— «Технической документацией не обеспечены... Штаты не соответствуют... Оборудования не хватает...» Все правильно!.. — вдруг закричал он с сердцем. — Не дамся я, чтобы меня били! Я тут с палаток начинал! Что нам, в самом деле, все на себя-то брать? Привыкли у нас выезжать за счет тети Ариши! Чуть надо штат сократить, первым делом брались за нее! Десять лет служила в министерстве, и десять раз ее сокращали, пока не загнали сюда!

Климушкин не спорил:

— Правда... К сожалению, правда.

— Так чего же нам, чуть что, лапки кверху задирать? — не унимался директор. — Пускай все эти понаехавшие ревизоры и контролеры смотрят, обследуют. Они нам довод, а мы им два! Они нам то, а мы им это, да! Пожар не раздувают, как твоя дочка сделала, а гасят!

Ни единым словом не возразил бухгалтер и на эти слова, он только вздыхал:

— Да... Да, да... Дела человеческие...

У Рудакова был, несомненно, характер отходчивый. Он перестал кипеть, опять подобрел, повеселел и, то ли шутки ради, то ли в самом деле готовый принимать стол за нечто одушевленное, приложился ухом к почерневшим от дождей и ветров доскам стола и спросил:

— Что? Не прав я, совесть моя? А? Что скажешь?

Я так считаю: пожар гасят, а не раздувают, правда? .. Что, что? Ну как же, я понимаю, Аня-то эта и ее подружка, ничего не имею, принципиальные комсомолочки, я согласен, и даже с тем могу согласиться, что они по-своему правы. Я в некотором смысле и сам приветствую их, но! ..

После этого «но» Рудаков поднял от стола лысоватую голову. И при свете фонаря было хорошо видно, что лицо у молодого директора просветленное, словно он получил от существа, к которому обращался, вполне удовлетворительный ответ.

— Но, — повторил он, подняв палец, — мое дело — пожар гасить, и я буду гасить! А ты, старик, — продолжал в каком-то порыве благородства Рудаков, обращаясь к своему бухгалтеру, — а ты, товарищ дорогой, не расстраивайся! «И остави нам долги наши», — говорится в одной пьесе, не помню только, в каком театре я ее смотрел, когда служил на Дальнем Востоке... Э, легка на помине твоя дочь! Сюда идет... Я спать. Гуд бай, старик! ..

Аня? Да, это она шла из гаража, усталая, измученная, измазанная и грустная оттого, вероятно, что «бобик» так и не починился и пришлось все отложить на завтра. При свете фонаря, еще бросавшего свет из темноты, куда уходил директор, отцу все это удалось прочесть на лице дочери. Никаких слов они при встрече не произнесли, только взглянули друг на друга и оба одновременно понимающе улыбнулись, и это было последнее, что они могли еще увидеть, потому что директор уже подходил к своему финскому домику, где жил с семьей, и лучи фонаря сюда больше не достигали, а если и достигали, то света не да-

вали. А вот и совсем погасли. И снова все вокруг потонуло в кромешной тьме, будь она неладна.

Послушаем разговор отца с дочерью.

Климушкин. Что ж не спишь, дочка? Принца ждешь?

Аня. Да, маленького принца. Всегда его жду...

Климушкин. Оттого и в город ездила? Надеялась встретить?

Аня. Он уже меня давно забыл, наверное...

Климушкин. Нету принцев, вывелись!

Аня (горячо). Есть, есть! Они не королевской крови, но кто сравнится с ними по благородству души? И как могла бы жизнь обходиться без них, папочка?

Климушкин. Не кричи.

Аня. Слова громкие... Прости. Сама их не люблю...

Климушкин. Урока хочешь? Мало тебе?

Аня. Ах, папа, родной! Как говорит Титова: «Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега...» Оказывается, ей он тоже стихи читал...

Климушкин. Кто?

Аня. Ларионов. Лариосик, как Титова его называет... Они давно знакомы, оказывается, вместе учились. По дороге Титова сегодня кое-что рассказывала.. И я теперь точно знаю — ей он тоже читал стихи. Правда, мне он читал другие.

Климушкин. Какие?

Аня. Хорошие... Думаешь, я тешу себя какими-нибудь надеждами? Клянусь, папа, ничего!..

Климушкин. Зачем же все это?

А н я. Сама не знаю. Просто не могу иначе...

К л и м у ш к и н. Эх, дочка, дочка! Детей в школе учишь, а себя не можешь научить уму-разуму.

А н я. Всегда же так. Сапожник — без сапог...

Тут залаяли где-то псы, Аня стала прислушиваться, и отец сказал ей утешительно:

— Приедет, приедет твой принц, уже телеграмма была. А пока пошли спать, дочка. Второй час ночи!..

Аня поцеловала отца и полезла в свою палатку, а он пошел к общежитию, шаркая сапогами по земле и вытянув вперед руки, чтобы не споткнуться о что-нибудь. Территория стройки не гладкое место, как все знают, тут и в ясный день голову сломишь...

7. ЧТО ПРОИЗОШЛО НОЧЬЮ

Затягивается немножко наша история, я чувствую, пора было бы уже Ларионову приехать, судя по телеграмме, — ведь если Мостовой и Сенчихин, как значилось в ней, тоже вознамерились побывать в Барыбе, то о выезде Ларионова там говорилось как о совершившемся факте. И, разумеется, с его приездом что-то бы началось, несомненно, драматическое.

Но есть вещи, через которые, к сожалению, не переступишь. И волей-неволей я должен привести здесь эпизод, который произошел этой же ночью в конторе во время дежурства Бульдеева.

А произошло вот что. Около трех часов ночи тетя Ариша, ввиду ожидаемого приезда большого начальства (имелись в виду Мостовой и Сенчихин, а отнюдь

не Ларионов), взялась за уборку конторы, тем более, как сторожихе, ей все равно полагалось не спать, а в кабинете директора черт этот противный, Бульдеев, взял да разлегся на диване. И бутылку водки возле себя поставил. И стакан. А около изголовья пристроил телефонный аппарат. И, находясь в такой боевой готовности, он лежал и, довольный обществом тети Ариши, рассуждал на разные темы.

— Скажи, пожалуйства, — обращался он к тете Арише, пока та подметала кабинет, — зачем ты так рано за уборку принялась? Для чего стараешься? До какого чина ты можешь дотянуть, ежели перед тобой уже пенсионный возраст маячит? Знай сопи себе в обе дырочки — и конец...

Он допил из стакана водку, и сразу какие-то искорки засветились в его заплывших, мутных глазах. Они были совсем без зрачков, хоть это и может показаться невероятным. Да, без зрачков. И поэтому никогда нельзя было определить, куда он в данный момент смотрит — то ли на вас, то ли мимо. Но видел он, казалось, хорошо и очков не носил.

Итак, допив остаток водки из стакана и налив туда из бутылки еще этак на четверть, очевидно чтобы продлить удовольствие (он не спешил и пил небольшими порциями), итак, сказали мы, сделав все это, он оживился и даже привстал на локте, обратив лицо к Арише.

— Слушай, тетка, скажи ты мне все-таки, отвлекись: чем сейчас, в нонешней современности, пахнут лица, играющие роли? Я про начальство говорю. Об чем думает? Чем оно дышит? Можешь ты мне это сказать, а? Ты же много лет близко возле была!..

Тетя Ариша хмыкнула, вытерла подбородок, словно только что кушала.

— Разным живет, милок.

— Понятно, — кивнул Бульдеев и энергичным жестом отбросил пятерней назад волосы, которые вились у него, как у цыгана, хотя цвета были русого. — Видишь ли, я почему спрашиваю. Знать, учил нас товарищ... руководитель... политкружка — значит предвидеть. А я сейчас как слепой вроде. Ни черта не понимаю... Не чувствую... И с одной стороны есть, и с другой стороны есть...

Тете Арише после таких слов, конечно, оставалось только пожать старушечьими плечами, что она и сделала, еще сопроводив это незлобивой, впрочем, усмешкой.

— Что есть? Что мелешь-то? Окоротись!

— Разноголосица, одним словом, — со вздохом отвечал Бульдеев. — Я, видишь ли, с особо большим начальством дела не имел. Я приказы знал... А ты же в главные кабинеты доступ имела! Наивысшие особы перед собой каждодневно видела! Чем же оно дышит, спрашивается? Не чувствую! Священного трепета того нет, понимаешь? Новый век, тетя Ариша. Все кверху дном.

И снова усмехнулась тетя Ариша.

— Вот именно, — сказала она, орудуя тряпкой. — Стало видно то, чего прежде и не видели. Ты, милуша, извини: как теленок обмарался, так стой.

Бульдеев не улежал — задело его, заело, и сильно; он покраснел даже, вскочил, штаны брезентовые подтянул, куртку из того же брезента застегнул, чтоб

грудь голую закрыть, и заорал на тетю Аришу, грозя здоровенным кулаком:

— Ты у меня поговори, дура баба! Лучше бы поняла, какой должен быть наш принцы́п! Взаимная выручка при условии взаимных благодарностей. Мы народ, поняла? Нас везут, мы едем, только и всего!

Немного успокоившись, он снова прилег на диван. И отпил из стакана глоток водки.

Тетя Ариша сказала примирительно:

— Хочешь все-таки знать, куда тебя везут?

— А то как же! — отозвался Бульдеев. — Вот скажи, например, как смотрит сейчас начальство на такой принцы́п? Прежде, в мое время, был порядок строгий: сперва похвали, а потом легонько и покритикуй. А ноне как это оформляется?

Тетя Ариша остановилась с тряпкой перед Бульдеевым.

— Боишься, нагорит тебе?

Тот опять вскочил с дивана, заорал:

— Я принцы́пы выясняю, а ты на ерунду сводишь! За что мне нагорит? За мое прорабство? Что мне сделают? У меня образование — семь классов на двоих с братом!.. Нет, тетя Ариша, главное — принцыпы знать, и тогда уж как-нибудь... Вот еще возьми, например: головотяпство, низкопоклонство, ротозейство, волокита, аб... абст... абстракционизьм... На это как там сейчас смотрят? Что было — видели. А ноне-то, ноне как?

— Как было, так и есть, — махнула рукой тетя Ариша.

Бульдеев присел, почесал под мышками.

— Не понимаешь ты моих вопросов! — произнес

он с сердечной болью, и тетя Ариша его даже пожалела и сказала, качая седой головой:

— Наш Мостовой, — ты его увидишь, как приедет, — он, бывало, на коллегии не раз говорил, я слыхала: «С этим примириться нельзя, даже если перевернуться кверху ногами!» Вот какой у человека подход.

— Так и говорил? — не поверил Бульдеев.

— Да, так и говорил.

— Ей-богу?

— Вот те крест.

— Стой, давай-ка сейчас попробуем! — сказал Бульдеев и с внезапной лихостью кинулся на пол делать стойку, но его тяжелое, загрузневшее тело не послушалось команды, руки не удержали, и он повалился с боцманским возгласом: — Японский бог, растуды твою туды!..

Посмеялась тетя Ариша на эту сцену и сказала:

— Ох, шальной ты, шальной! И как с тобой жена живет, как детей воспитываешь?

Бульдеев уселся. И, чистосердечно глядя на тетю Аришу, лицом к коей был повернут, произнес такую речь:

— Да, милая, увы и ах, с этим у меня тоже прорыв. Домой хоть не являйся. В прошлое воскресенье ночью я сидел и думал: куда жена девает зарплату, что ее не хватает? И, чтобы легче разобраться в этом, я разбудил спящую помощницу моей жизни. И тут мы поскандалили. Сейчас она меня к себе на неофициальное расстояние не подпускает. Вот, кстати: в этом вопросе как? Какие ноне соображения, взгляды, указания?

Грустно глядела тетя Ариша на Бульдеева. Ее тронули его признания. Да ведь пьяница! Что его жалеть! И она ворчливо сказала:

— Шальной ты, шальной человек! Чего дурака валяешь, когда за ум-то возьмешься?

Расхохотался Бульдеев в ответ на эти слова. Еще чуть выпил из стакана. И сказал:

— А с какой же стороны браться, милая?.. Вот прежде я знал. Поскандалишь, потом напишешь заявление: так и так, объясняю вам о моем нетактичном поведении в отношении семейной жизни и моего трогательного состояния после выпивки. И всё! Мильон терзаний, тыща извинений. Черные гвозди и шурум-бурум!.. А сейчас? Сейчас последняя доля оптимизма пропадает!..

Он отпил еще глоточек и продолжал:

— Или вот был, я знаю, принцы́п: «Вперед не суйся, сзади не оставайся, в середке не мотайся»... Великий принцы́п!

Тетя Ариша все глядела на него, и душа ее скорбела. И казалось, ее глазами смотрят сейчас с укором на Бульдеева все несчастные жены и матери, и она твердила:

— Будет тебе глупости-то болтать! Эх, ты!..

А Бульдеев, видно, уже был знаком с таким взглядом и держал лицо теперь обращенным куда-то вбок и говорил с тоской:

— Не уважаешь ты меня, тетя Ариша, за что ты меня не уважаешь? Я люблю честность, я люблю справедливость! Атом, атом, водород, изобрел тебя народ! Тут против меня заговор! Против меня, Гришки Бульдеева!

— Глупый ты человек! — рассердилась тетя Ариша. — Будь ты в понятии, я бы тебе по-серьезному, может, объяснила, как и чем ноне живет начальство. Я бы тебе такое рассказала!.. Я хоть кого сразу научу: кто из начальников дело́к, а в ком один вид да хохолок.

Бульдеев твердил свое:

— Атом, атом, водород, изобрел тебя народ!

— Шальной, болотовредный ты человек! — все более серчала тетя Ариша. — И пьяница! Что тебе атом, что тебе принцы́пы и что справедливость? Всё продашь за водку.

— Пшла вон, старая, брысь! — задрыгал ногами Бульдеев. — Я уж слышал! То ты надоумила этих девчат жаловаться! Туда! В свои высшие канцелярии. Так не жди ничего, знай! Хочешь, я тебя научу главному принцы́пу нашего брата, ты слушай: что нужно для безбедной жизни? Я тебе отвечу: паспорт с пропиской и сто друзей. И это у нас есть.

Тетю Аришу ничуть не испугало, что на нее ногами дрыгают, у нее и самой муж покойный был пьяница, но она просто не могла больше болтать попусту с этим запутавшимся человеком. И, прихватив веник и тряпку, она ушла.

Что оставалось делать Бульдееву? Он лег. Растянулся, как был, в сапогах. И задумался. Однако при этом он не молчал, как другие, когда думают о чем-либо, а продолжал теперь уже сам с собою рассуждать.

— Так и не сказала ничего, ведьма! Да что она знает? Я ее так вопрошал, от скуки. А все-таки хотелось бы знать, чем живет оно? — тут Бульдеев сделал

жест рукой вверх. — Чем дышит? Все ноне стало проблемно, а прежде я себя как-то лучше чувствовал. Какие габардины получал! Какие отрезы! Какие путевки два раза в год! Я кисловодские воды все выпил! Все нарзаны осушил! Эх, вот житуха была!..

8. ЧТО ПРОИЗОШЛО ПОД УТРО

События этой ночи, как видим, не уместились в одну главу, хотя, казалось бы, их не так уж было много; тут весь вопрос в том, что считать событием, а что — нет.

Уже почти под утро около стола у конторы появилась еще не знакомая нам девушка, совсем юная, ну, лет шестнадцати, не больше. Черненькая, миленькая, пухленькая. На ней был белый передничек, который она в этот момент завязывала сзади, причем, делая это, она с такой силой зевала, что каждый раз вся приподымалась с земли. Но я думаю, что, наверное, просто впечатление получалось такое, а на самом деле девчушка эта не отделялась от земли, а только становилась на носки, то есть при зевке ее возносило вверх, а потом опускало, и это было, право же, занятно наблюдать.

Повариха при столовой — вот кто она была. И звали ее Машенькой. И зевала она оттого, что не выспалась, бедняжка. Загуляла вчера на танцах у соседей, где есть бубен. А сейчас ей работать. Люди скоро проснутся, придут в столовую завтракать, и только одна Машенька может их накормить. На стройке тут много холостых и одиноких, у них семьи где-то,

а сами они, холостые эти и одинокие, готовить себе не станут. Не хотят и не умеют, кроме Климушкина, — тот готовит себе все сам на керосинке в коридоре общежития. И хоть его давно предупредили, что от этого может случиться пожар, он все же продолжает жарить себе яичницы в общежитии и в столовую к Машеньке не ходит, что той, впрочем, безразлично, посетителей хватает, только успевай их обслуживать, этих жадных до пищи людей, грубиянов этих; все ужасно орут, когда едят, а когда пьют — хоть затыкай уши, и этакое Машеньке приходится терпеть каждый день. И оттого она неважного мнения о человечестве, и вот, например, если угодно, послушайте, что она произносила вслух в то время, когда по дороге на кухню постояла у стола и позевала, послушайте ее по-детски хрипловатый голосок:

— Какие все люди дураки! Жрут и жрут. Скоро на земле ничего не останется. Ни капусты, ни круп, ни даже соли. Удивление, как много жрут! . .

Казалось, она тоже обращается к столу, пичужка, она вся привалилась, припала к нему, как к чему-то родному и близкому, ласково водила рукой по щербатым доскам крышки; и, наверное, мы бы услыхали от Машеньки еще кое-какие интересные рассуждения о человечестве, благо язычок у нее был остер и задирист, чем она и славилась, но тут из конторы вдруг донесся обвалистый грохот, потом прозвучал громовый бой сапог и на крыльцо выскочил заспанный и весь расхристанный Бульдеев.

— Подъезжает! Японский бог! — проорал Бульдеев. — Черт принес! . . Из Москвы!

Мы потом поясним, что крылось за бессвязными выкриками Бульдеева, а сейчас обратим внимание вот на что: ростом отстраненный прораб был не так велик, но он заставил Машеньку ужаснуться, когда ринулся вниз с крыльца, — ощущение было такое, будто скачет на тебя громадный бык, ничего не разбирающий на пути.

И были секунды, когда Машеньке казалось — сейчас он, Бульдеев этот, дьявол, и крыльцо поломает вдребезги, и стол у конторы опрокинет, и ее, Машеньку, задавит, затопчет сапогами. И просто непостижимо, как это все — включая хрупкую фигурку Машеньки — осталось в целости; повезло, я считаю, и крыльцу, и столу, и юной поварихе, которую Бульдеев даже не заметил, поскольку она почти вся распласталась на столе, слилась с ним; но, впрочем, Бульдеев спросонок ничего не замечал — он спешил к проезжей дороге.

А было еще темно. Тьма только-только начинала редеть. И, должно быть, на что-то Бульдеев все-таки налетел с размаху, потому что издали снова донеслось громоподобное:

— Японский бог! Понакидали тут!..

А на дороге уже ясно слышалось фырканье подъезжающей автомашины. И пора сказать, что означали выкрики Бульдеева, — мы имеем в виду, конечно, не упоминание японского бога, а его слова о том, что кого-то черт принес из Москвы. И тут мы должны сказать, что шум подъезжающей автомашины действительно мог означать лишь одно: к числу уже прибывших на стройку руководящих особ прибавится еще одна, и эта особа тоже будет ходить по дамбам и

копаться в отчетах, и, разумеется, ей, этой особе, понадобится и ночлег, и питание, и, может быть, даже — диетическое. Машенька, слыша голоса на дороге, где остановился грузовик, именно так и подумала. И она проворчала, нехотя отрываясь от стола:

— Вот еще одного корми! Ой, несчастье...

О, если бы стол умел говорить, он, я уверен, сказал бы: «Машенька, милая, поди, голубушка, отсюда. Сейчас тут кое-что произойдет». Но даже если бы стол и смог выговорить эти слова, Машенька все равно не послушалась бы, она, без сомнения, ответила бы упрямо: «А я любопытная, хочу все видеть и знать!» И, конечно, стол не стал бы отрицать, что это очень похвально — все видеть и знать. Но уж кто-кто, а он-то, старый, щербатый стол, хорошо знает, как пагубно действует на юные души то, что им еще рановато знать. И поэтому он, стол, мне кажется, опять попытался бы уговорить Машеньку: «Уходи, детка, ты и так слишком многого насмотрелась за свою жизнь».

Но увы, на Машеньку подобные увещевания не действовали, — наоборот, даже вызывали в ней еще больший приступ упрямства. И она ответила бы столу, топнув ножкой:

— А я хочу знать, кто приехал.

И добавила бы еще:

— Я не виновата, что люди ведут себя так.

— Как?

— Ничего не прячут. Всё — откровенно!

— Напротив, голубушка! Люди все прячут!..

Такой разговор все равно был бы напрасным, не убедить Машеньку, она стояла бы на своем.

— Нет, нет! Я даже не хотела бы видеть, а вижу все, как будто люди передо мной голые!..

И, уже теряя всякую надежду, стол удрученно произнес бы:

— Это детская болезнь, Машенька. Со временем и у тебя пройдет, и все предстанет в другом свете. Иди! Начисть картошки, затопи плиту, скоро утро.

А Машенька, уже ничего не слыша, говорила самой себе с запалом:

— Подумать только — где-то есть Москва, Сочи! А я с утра до ночи на кухне. Ух, придет время — и я ворвусь в мир! Ворвусь, как бомба!..

Знаете, я даже склонен думать, что такой разговор между столом и Машенькой действительно состоялся, очень похоже, и мы потом объясним, почему нам так кажется, а сейчас поспешим к машине; там, на дороге, уже слышались возбужденные голоса, из которых один, рыкающий, принадлежал Бульдееву, а другой, баритонистый, с переходом в бас, — неизвестному мужчине, несомненно настоящему мужчине, — так, по крайней мере, показалось Машеньке, а настоящими мужчинами она считала лишь тех, кто вошел в серьезный жизненный возраст, то есть кому под тридцать или за тридцать, а тех, кто моложе, Машенька просто не признавала.

9. ЧТО ПРОИЗОШЛО ПОД УТРО (продолжение)

Сразу скажем — это прибыл, наконец, Ларионов. Отъерепенился, слава богу. И вот он в Барыбе, друг наш.

Начнем с того, что на нем был югославский плащ из зеленой искусственной кожи и черный беретик, туго натянутый на голову. Далее отметим, что при молодом инженере был небольшой чемоданчик, с каким скорее ходят в баню, а не ездят в дальние командировки. Ясно, что нового чемодана он себе так и не купил, возможно — опять по той же причине, что соблазнился каким-нибудь очередным томиком стихов, который зовется в кругу любителей поэзии «шедевральным» и стоит довольно дорого, поскольку приобретается не в магазине, а из частных рук в проезде МХАТа, и то лишь по воскресным дням, когда расположенный рядом букинистический магазин закрыт.

Но, впрочем, прямого отношения к рассказываемой нами истории все это не имеет. На приезжем мог быть в этот час не черный, а синий беретик, не югославский, а какой-либо иной плащ. И чемодан мог быть большой, новый, не потертый баульчик. Все, повторяю, могло оказаться другим и сути дела бы не меняло. А вот то, что Ларионова сильно продуло в дороге и он прибыл в дурном настроении и, едва сойдя с машины, сразу же постарался выказать Бульдееву свое недовольство и даже поругаться с ним, — это имеет значение, потому что отразится на всем дальнейшем.

Поскольку стол у конторы оказался тем местом, где произошли и еще произойдут многие события, и — скажем для большей точности, хоть оно, возможно, и почудится чем-то весьма странным, — он стал и средоточием некоторых явлений нашей жизни, которые стоят иных событий, невзирая на то, что куда

менее приметны, так вот, поскольку, сказал я, уж само собой сложилось, что стол у конторы очутился как бы в центре событий и только что отмеченных явлений, мы и сцену приезда Ларионова свяжем с этим столом. И, не теряя времени, приведем сюда Ларионова и Бульдеева. Да им и некуда деваться больше. Здесь, в двух шагах от стола, и контора и общежитие, здесь стоят еще и две палатки для ночлега. Здесь и столовая, правда, закрытая еще сейчас на замок, но это уж вина Машеньки, она так и не ушла на кухню, только спряталась за угол, чтобы оттуда ее было не видать.

И вот оба подошли и остановились у стола, Ларионов и Бульдеев. Первый хмуро оглядывается по сторонам, стараясь, должно быть, сопоставить видимое с тем, что застал здесь в свой прошлогодний летний приезд. Надо сказать, несмотря на еще не поредевший ночной сумрак, видеть Ларионов мог, потому что еще в момент, когда он ругался с Бульдеевым на дороге, вдруг сам собою загорелся фонарь от движка, который заработал в силовой, то есть в том приземистом кирпичном сарайчике, где находилась электростанция стройки. И при свете этого фонаря, горевшего как раз над входом в контору, опытный глаз инженера, тем более автора проекта, мог кое-что разглядеть. И вот Ларионов все оглядывался, оглядывался вокруг, а Бульдеев стоял около и, пошатываясь от выпитой малыми порциями целой бутылки водки, говорил, пока еще без обиды:

— Ругаться — это неправильно. Надо указания давать. Вот так, товарищ инженер, я понимаю сегодняшние наши целевые задачи. Правильно я говорю?

Вышестоящие — указуют, нижестоящие — исполняют. И знай сопи себе в обе дырочки. . .

Ларионов не отвечал, его волновало свое.

— Обстановочка, — говорил себе Ларионов, закуривая. — Попал в случай. Париж — Брюссель — Амстердам. С ума сойдешь, тьфу!

— Дозвольте папироску, — попросил Бульдеев. И, заранее усмехаясь собственной шутке, добавил: — Так курить охота, аж уши пухнут.

— Нате, — сунул ему свой портсигар Ларионов, но прикурить от своей папиросы не дал, а протянул прорабу спички.

А тому вдруг ударила в голову спасительная идея, — именно ударила и именно спасительная, у Бульдеева всегда бывало так, — нормы поведения ему чаще всего подсказывала не голова, а инстинкт, с которым он, прораб, ничего не мог поделать и который сам же называл подлым; и вот сейчас этим самым необузданным и малоприятным, надо признать, инстинктом, Бульдеев учуял, что с приезжим стоит хорошенько сцепиться: это будет к явной выгоде ему, прорабу, и к явной невыгоде приезжего.

Оба и в прошлом году, в тот приезд Ларионова, не поладили. Не поладили на почве, как считал Бульдеев, взаимной неприязни из-за полного непонимания этим молодым инженером в модных туфлях того принципа, который он, Бульдеев, считал прямо-таки священным, и принцип этот мы уже от Бульдеева этой ночью слышали, если помните: «Взаимная выручка при условии взаимных благодарностей». Вот этим самым принципом, только и дающим людям, трезво говоря, возможность жить, этим всераспро-

страненнейшим принципом явно пренебрегал автор барыбинского проекта, да как еще демонстративно, чудак человек, как лихо выказал это пренебрежение в тот прошлогодний свой приезд: дошел, представьте себе, до того, что даже акт тогда составил, а в акте — эх, кто так делает! — запузырил длиннющий перечень неполадок и особенно выдал притом на орехи ему, Бульдееву.

Ну, дело прошлое, он, Бульдеев, по натуре незлопамятен, но постоять-то как-нибудь за себя надо? А как постоять? Вот он и решил в этот раз прибегнуть к единственному и наиболее доступному ему способу самозащиты: подвергнуться обиде.

Видите, какой дьявольский план. Иные стараются не давать себя в обиду, а он, Бульдеев, додумался как раз до обратного: нарочно дать себя в обиду, хоть небольшую, а потом уже ухватиться за это обеими руками. Увы, Ларионову инстинкт в эти минуты ничего противодействующего не подсказал, и своим поведением он только способствовал успеху затеи прораба.

Добавим, что с моральной точки зрения Бульдеев не видел в своей затее какой-либо низости, — каждый обороняется как может, а что до Ларионова, то парень бойкий, как-нибудь вывернется, особого вреда ему не будет, не должно быть, — это Бульдеев тоже учитывал; и тут, надо признать, наш прораб исходил из разумнейшего и даже вполне гуманного принципа: роя яму другому, гляди, чтоб она не была чересчур глубокой, иначе будешь потом отвечать.

Итак, теперь, когда мы все это узнали, посмотрим, как же разыгрался скандал. Интересно просто — как

сумел Бульдеев привести в исполнение свой адский план?

Э, пустяки, ему это ничего не стоило, в сущности. Угостившись папиросой и вернув инженеру портсигар с чрезвычайно любезными словами благодарности, прораб стал действовать так: подошел к одной из палаток, пригласительным жестом указал на нее Ларионову и произнес тоном гостеприимного хозяина:

— Пожалуйте в палаточку. В той вон бабы, — он показал на соседнюю палатку. — Извиняюсь, конечно, женщины, и молодые есть. А тут вам все приготовлено, располагайтесь, милости просим, и к утру будете отдохнувши. . .

— С ума сойдешь, тьфу, — снова проворчал и тьфукнул Ларионов и требовательно посмотрел на Бульдеева. — Что у вас тут за табор какой-то? Второй год строите — и все шалаши да палатки! . .

— Строим, как умеем, — отозвался Бульдеев и еще больше вывел из себя приезжего; тот швырнул папироску оземь и буркнул с негодованием:

— Черт знает, что вы городите! С прошлого года, я вижу, у вас тут мало переменилось. . . Какой-то паршивый грузовик за мной выслали. Есть же у вас легковая машина! . .

На Бульдеева уже находила обида. Она еще поднималась откуда-то из глубины, и его лицо еще ничего не выражало, но голос стал глухим, тихим, а это означало — кончается терпение, скоро ему конец, и почти шепотом, почему-то даже потянувшись к уху Ларионова, словно сообщая ему секрет, Бульдеев произнес:

— А наш «бобик» вчера загнали. Ваши ездили на станцию. . . Ваши же дамы! . .

— Какие мои дамы? — отшатнулся Ларионов. — Пьян — так шел бы лучше спать!

Тут и иссяк у Бульдеева запас его терпения, и он вдруг ошалело гикнул и пустился в пляс, держась руками за шею и притопывая:

Эх вы, дамбы, мои дамбы,
Дамбы новые мои. . .
Дамбы новые, хреновые. . .

Ларионов в бешенстве бросился к танцующему, схватил его за шиворот, зажал ему рот.

— Тише ты, люди же спят, балда! — Но тут же Ларионов оттолкнул крикуна от себя. — Тьфу, самогоном как разит!

— Ха! — завопил и захохотал счастливо Бульдеев. — Скандальничать изволите? Так, так, давайте скандальничать, только я буду жаловаться! Я люблю честность, я люблю справедливость! Атом, атом. . .

Ну, тут уж прораб постарался, чтобы шум вышел, какой надо, чтобы если не вся Барыба, то по крайней мере вся стройка услыхала и отозвалась. И надо отдать должное Бульдееву — он не просто нашумел, а подобрал такие слова, которые могут, как ему казалось, прозвучать особенно громко не только от силы голоса, но и по своему общественному весу. И, господи, чего только не наговорил, вернее, не наорал спьяну прораб, — он целую философию развел: дескать, куда же мы идем и куда заворачиваем, в самом деле: нельзя же, чтоб каждый командировочный изображал из себя кит-рыбу или же заезжего туриста из

какого-нибудь юго-западного Техаса, а здесь все-таки не Техас, а Барыба, и он, Бульдеев, не позволит, чтобы любой командировочный, пока еще никакой не начальник, помыкал им, как помыкают семнадцатой снохой в семье. Он заявил еще, Бульдеев, причем самым категорическим тоном, что тоже может схватить в ручки чемодан и гикнуть: «Прощай, Азия, ура, Европа!» И в заключение всей программы прораб действительно отчаянно гикнул и пошел пристукивать сапогами:

Я ль страдала, страданула,
С моста в речку сиганула...

Успех был полный. И понятно, думается, что тут последовало: от шума, естественно, люди проснулись, и, как говорится, все вокруг ожило. Показались из общежития Агеев и Климушкин. Прибежал из своего финского домика Рудаков. Высунулись из женской палатки Титова и Зина. Одна Аня осталась на месте, то есть не смогла или не захотела встать. А все другие появились тут как тут, и, конечно, все в накинутой наспех одежде. Это всегда смешно и немножко интересно, по такому поводу не предосудительно показаться, скажем, в платье-халате, не все пуговицы которого удалось в спешке застегнуть, что и случилось, например, с Титовой. Или предстать в нижней рубахе и подтяжках, что произошло с Агеевым. Зато директор стройки Рудаков был весь, с головы до пят, завернут в одеяло, как и Климушкин, что говорило о большой сработанности этих людей. А Зина — та, не стесняясь, стояла у порога женской палатки в юбке и черном бюстгальтере, выставляя напоказ все свои ребра.

Ну, тут, разумеется, выступила из своего укрытия и Машенька и на раздававшиеся отовсюду возгласы: «Что такое? Что случилось?» отвечала:

— Я могу быть свидетелем, я все видела! Он ворвался, как бомба!

Машенька могла бы засвидетельствовать и другое: первой очутилась возле приезжего и порадовалась ему Титова, она вскрикнула радостно:

— Ба-ба-ба! С приездом, Лариосик!

Вторым был Рудаков. Этот по-директорски солидно покашлял в кулак правой руки, потом ее же протянул автору проекта и сказал:

— С приездом вас, товарищ инженер, хлеб да соль и прочее, очень и очень рады!

Климушкин только издали кивнул Ларионову и тут же занялся неотложным делом, то есть осторожненько взял под руку Бульдеева, тихонько что-то сказал ему и повел прочь от людского скопления. И одновременно он, Климушкин, успел на ходу поотечески погрозить пальцем Машеньке, что моментально произвело свое действие: та спохватилась, отперла дверь кухни и бросилась растапливать плиту, на которой стояли большие кастрюли и сковороды с оставшимися вчера щами, макаронами и сильно подгорелыми котлетами.

Что ж Ларионов в это время делал? Он-то, бедняга, ведь попал прямо как с корабля на бал. Не ждал, не чаял такой встречи. И был смущен невероятно. Но держался все же молодцом, отвечал на приветствия весело: «Ба, сколько знакомых!» Здороваясь с Титовой, сказал ей тепло: «Очень рад, Ирина, привет, привет!» А пожимая руку Агееву, сердечно по-

желал: «Доброго здоровьичка, Павел Евгеньевич!» А Рудакову деловито улыбнулся: «Поработаем, товарищ директор, что ж...» И в то же время он обращался ко всем сразу: «Ради бога, товарищи, извините, ужасно как неприятно получилось, я вас разбудил!»

Он сунул руку и Зине.

— Здравствуйте, товарищ... новенькая, я вас что-то прежде здесь не встречал?

Зина ответила с достоинством, вяло пожимая ему руку, чтоб не слишком уж выдавать свою заинтересованность:

— Извините, я тут случайный человек.

— Ого! — усмехнулся он. — Здесь и такие есть?

Тут подскочила Титова и затараторила:

— Лариосик, будет вам! Приехал, нашумел! А я так крепко спала! Знаете, как тут на свежем воздухе спится, — прелесть! Ну, я рада, очень, очень, — повторяла она, все более и более подчеркивая слово «очень». Затем она потянулась к уху Ларионова и прошептала: — И вообще мы тут за тебя очень переживали, знай! Вообще! — выразительно поиграла бровями Титова. — Мы с тобой будем на «ты» или на «вы»? Как хочешь, дружок, мне все равно.

— Потом, потом, — отмахнулся он, тем более — подходил Агеев.

Этот спросил:

— Что в нашей матушке Москве, коллега? Кто, где, как? Новенькое, драматичное есть?

Ларионов уклончиво ответил:

— Успеем еще об этом, уважаемый Павел Евгеньевич, — и снова обратился ко всем сразу: — Извини-

те, товарищи, еще раз прошу, мне так неловко, — вдруг такой шум получился. Я рано разбудил вас!

Титова не утерпела и опять потянулась к уху Ларионова:

— Будет у меня с тобой дело, погоди!

— Дело? — пожал он плечами.

— Разговор, мой голубок.

— Ну, это еще туда-сюда.

— Какой ты был когда-то хороший, Аркаша!

— Закон Гераклита, — отозвался он, снова пожимая плечами. — Все течет, бежит...

— Ну тебя, — мазнула она его пальчиком по носу. — Как хочешь, потом так потом. А пока я обратно в объятия Морфея! — И, мило помахав ручкой приезжему, Титова скрылась в палатке.

Собственно, на этом сцену приезда Ларионова можно было бы закончить, потому что ничего существенного больше не произошло.

Все-таки еще был глухой предрассветный час. И люди хотели спать. Даже те, кто не знал, что означает «обратно в объятия Морфея», как было, например, с Рудаковым, который, несмотря на солидное свое директорское положение, несмотря, далее, на то, что, как выдвиженец, считался растущим администратором, все же не был знаком с античной мифологией. И поэтому, услышав про Морфея, в объятия которого собиралась отдаться Титова, хихикнул совсем по-мальчишески. И при этом он лукаво подмигнул Агееву: мол, ох уж эта ваша Титова! Бой-баба, я вам доложу! Вишь, какие номера откалывает! С места в карьер взяла в работу только что приехавшего инженера, и уже о чем-то пошепталась с ним, и ему же

не стесняясь доложила, что возвращается в объятия к Морфею. Причем с ходу потащила за собой в палатку и Зину. Все это показалось, конечно, забавным Рудакову. А вот Агеев на это никак не реагировал. Он как ни в чем не бывало сказал, поглядывая на свои ручные часы:

— Так что ж, товарищ директор, как условились, через часок я готов с вами на рыбалку, если не забыли. Покажете, как обещали, места, и попробуем для почина, поглядим, как оно там с клёвом...

Ларионов в эту минуту, похоже, знакомился со столом; как бы испытывая его крепость, он уперся в него обеими руками и задумчиво глядел куда-то вдаль. И казалось — он, Ларионов, сейчас решает вопрос: оставаться ему здесь или, махнув рукой на все, взять свой лежащий на скамье чемоданчик и податься обратно на станцию? К чертям собачьим все это, в самом деле!

Так, говорю я, казалось. А возможно и другое: не исключено, я полагаю, что Ларионов решал в уме какой-то другой вопрос, мы не знаем этого точно, но лоб его был наморщен, как при напряженном умственном усилии.

Рискуем навлечь на себя нарекания читателей, что слишком много места мы уделяем столу и чересчур уж делаем его одушевленным, но факт есть факт: снова сказалась многоопытность стола. И хотите верьте, хотите нет — между ним и Ларионовым словно установился какой-то дружеский контакт, в знак чего Ларионов, выйдя наконец из состояния раздумчивости, по-приятельски похлопал раза два ладонью по крышке.

— Знаете, — сказал ему Агеев, — рыбка тут ловится — исключительно! Не избежать и вам, ручаюсь.

— Щуки у нас тут много, — деловито сказал Рудаков, поправляя на себе одеяло. — Щук — хоть завались!

Ларионов усмехнулся:

— А караси когда-нибудь тут будут?

— Вот она, драма-то! — вздохнул Агеев, держась обеими руками за свои подтяжки. — Карасей нету! И не будет, — добавил он, уходя в общежитие. — За ближайшие сто лет ручаюсь. . .

Теперь их оставалось только двое — Ларионов, сидящий на столе, и Рудаков, стоящий возле стола. И, чтобы быстрее все закончить, мы лишь коротко, в общих чертах, передадим состоявшийся между ними заключительный разговор.

Ларионов спросил у директора:

— А вы что скажете насчет карасей?

— Я небольшой человек, — ответил тот.

— А маленькие люди всегда за все в ответе, — сказал Ларионов, на что Рудаков незамедлительно отозвался:

— А документики на что?

— Где Агеев? — повернулся в сторону общежития Ларионов, и, хотя Агеева уже не было видно, Ларионов произнес следующие обращенные к нему слова: — Вот где драма, милый ты наш Павел Евгеньевич! Документики! Шу-шу-шу! Не мышиная возня, а уже работа!

На это Рудаков ответил:

— Мы тут без драм, слава аллаху, просто работаем. С голого места, с целины начинали. . .

— Ну, ну, не обижайтесь, — протянул директору руку Ларионов, хотя при встрече они уже здоровались. — Я, видите ли, всегда удивляюсь, отчего это: когда шуршат бумагой мыши, то говорят — это мышиная возня, а когда шуршат бумагой люди, это уже называют работой.

Рудакову понравилась шутка, и он произнес с улыбкой:

— А как же? Чего же вы хотите? То — мыши, а то — люди! Разница!

— Бесспорно, — усмехнулся Ларионов.

— Вот видите, — совсем уже по-приятельски сказал Рудаков.

— Что резонно, то резонно, — сказал Ларионов.

— Еще бы, — кивнул Рудаков. — Ясное дело.

— Договорились, — снова протянул ему руку Ларионов. — Я только вот что должен добавить: все мы небольшие люди, друг мой. И держится мир на нас, поняли? На таких, как мы с вами... Ну, оставим... Мне куда? Я уж забыл, в какую палатку? ..

И вот уже никого не осталось у стола. Приезжий залез в указанную ему палатку. Директор ушел к себе в финский домик. И снова на территории стройки стало тихо. Только ветер шумел где-то там наверху, среди ночных звезд. И качался у конторы фонарь, которому теперь, казалось, скучно стало одиноко качаться и гореть, и он в самом деле скоро взял да и перестал светить.

10. ПРИНЦ ИЛИ НЕ ПРИНЦ?

В Барыбе люди не суетятся по утрам, не спешат особенно, — работа тут, изволите видеть, под боком. Из дому вышел — и уже ты у конторы. Или в гараже. Или на материальном складе. Или у бетономешалки. Или, наконец, у экскаватора, — вчера же ты сам привел из степи этот экскаватор вместе с облаком пыли сюда, к своему домику, вот он и простоял у твоего порога всю ночь — и пожалуйста, давай садись, милый, пора уж, покатим снова в степь. И продолжим вчерашнее. На чем вечером пошабашили, с того и начнем, братец, не привыкать. А на солнце и пыль не обращай внимания, тут Барыба, леший ее дери!..

Солнце и пыль — вот утро Барыбы. И сразу при взгляде на рабочую площадку видишь: где над степью стоят дымные облака, там экскаватор или бульдозер работает, где облака опали, там экскаваторщик или бульдозерист остановил свои машины на перекур. И, улегшись животами вниз на прожаренный солнцем откос дамбы, неторопливо разговаривают про международные события или про то, что на прошлой неделе одна тетка недорого продавала на станции поросенка. А еще любят бульдозеристы и экскаваторщики во время перекура обсуждать газетные статьи на моральные темы. Иные даже вырезки делают и при себе в кармане носят — до того интересные статьи. Иногда до обеда длятся живые обсуждения, и если машины тем временем стоят себе да жарятся на солнце, то не бойтесь за план, он будет выполнен после обеда с лихвой, и что это в самом деле так, легко было бы

убедиться по тем же облакам пыли — до самого вечера они уж не опадут.

Но Ане и Зине, им-то, девушкам на отдыхе, что делать в такое утро, при столь жарком солнце; пожалуй, остается одно — на бережок да в воду, покупаться, поплавать, еще немного подзагореть. Не было у них, мне думается, оснований отказывать себе в таком удовольствии и в это утро, хотя в минувшую ночь как следует не выспались, и мы знаем отчего. Все Ларионов этот миленький виноват, не мог выбрать более удобное время для приезда.

А сейчас подружки, накинув на плечи халатики, чтобы не обгореть слишком от жаркого солнца, тихонько расхаживали в обнимку вдоль бережка и вели между собою задушевный разговор. И мы на этот раз передадим его, в виде опыта, без указания лица говорящего, в надежде, что это само собой будет угадываться.

— Ну что, Зинка, принц или не принц?

— Не знаю. В твоем воображении, может, принц.

— А в твоем?

— Разве принцы скандалят?

— Милая, ты совсем святого хочешь. А он не святой, это я тебе все время говорила.

— Любишь его?

— Что ты, что ты, Зинка! Ты же все знаешь!

— А может — любишь? Какое-то чувство есть?

— Я только переволновалась этой ночью, ужас! Ты высунулась, а я хотела было, да скок обратно. Лежу и вся дрожу...

— Значит, какое-то чувство есть.

— А если у меня другое чувство, тогда что? Хочу доказать свое, допустим.

— Анечка! Дорогая! Я, кажется, знаю все женские чувства...

Вслед за тем Зина, — надеюсь, ясно, что последние слова о женских чувствах принадлежат ей, — вдруг заговорила не своими словами, а словно кому-то подражая:

— Ах, девочки, девочки! Все мы люди, люди-человеки. Мужчины, женщины. И между нами — известные, определенного рода отношения: личные, служебные, товарищеские, интимные. Иногда хорошие, чаще плохие. И ничего не поделаешь, мир так устроен.

Теперь мы можем продолжать прерванный диалог девушек в прежнем безымянном духе, поскольку все дальнейшее будет, надеемся, ясным и без указания, кому принадлежат те или иные слова.

— Ты говоришь как Титова. Я ее ненавижу

— За откровенность? Что ты, Ануська! Мы же не девочки!.. Что ты намерена делать?

— Ничего... Буду помогать отцу, у него полугодовой отчет, представляешь, сколько работы! Я эту цифирь немного знаю... Когда еще мать жила, он часто брал такую работу домой, и мы ему все помогали.

— Не заговаривай мне зубы.

— Я сначала посмотрю, что он будет делать, мой маленький принц.

— Наедет ревизоров и начальников полон дом, и затюкают его, даже если бы он и был принцем.

— Пусть хотя бы хочет быть им.

— И это тебя устроило бы? Маловато.

— А что поделаешь, если мне пока встретился только один настоящий маленький принц — и то в сказке Экзюпери.

— Эх ты, Ануська! Затащила меня сюда, вместо того чтобы нам вместе на весь отпуск махнуть в Ялту или Сочи. И натворили делов!

— Как по-твоему, что легче — быть учительницей, вести класс, или сидеть техником в конторке цеха?

— Не валяй дурака. Ты знаешь мою жизнь.

— А ты мою... И давай, подружка, не ругаться. Давай попробуем. Возьмем его за шиворот и тряханем так, чтоб из него душа вон, как у тебя в цехе выражаются. Просто вцепимся ему в глотку!..

Как раз в эту минуту из-за края дамбы показался Ларионов с полотенцем на плече. Он тоже только что искупался. И весь его костюм — белый тельник и полосатые пижамные штаны. Вид не совсем приличный, но встречи с девушками он не ожидал, я думаю, да и каких вам надо приличий от человека, вырвавшегося из душного города в барыбинскую глушь, господи боже? Тут и на работе — в степи и даже в конторе — не редкость увидеть полуголого рабочего или техника в трусах, дело большое, подумаешь! Кому не нравится, пусть не смотрит, только и всего. И, хотя Ларионов не принадлежал к тем, кто позволяет себе так распоясываться, он, увидев Аню и Зину, подумал про свой туалет: «Э, да черт с ним!» И остановился, чтобы поздороваться с девушками.

Но те еще не увидели его, и вот надо же, чтоб так случилось, — последние слова Ани дошли до слуха Ларионова, а слова эти, напомним, были таковы:

«Возьмем его за шиворот и тряханем так, чтоб он запищал, чтоб из него душа вон... Просто вцепимся ему в глотку!..»

При желании, при большей благорасположенности, он услышал бы не только угрозы по своему адресу, но уловил бы и нечто другое в запальчивом тоне Ани, нечто более шутливое, нежели серьезное, во всяком случае, наш герой мог повести себя спокойнее, чем он себя повел, а было так: вот, наконец, девушки заметили его, и уж они-то смутились, понятно, куда больше, чем он; обе стали спешно запахивать свои халатики. Зина первая обрела дар голоса.

— Ой! — воскликнула она. — Мы еще в халатиках, извините!..

— А мне наплевать, в чем вы, — грубовато отозвался Ларионов и обратился к Ане: — Это кому вы, позвольте узнать, собираетесь вцепиться в глотку? Мне?

Аня все еще не в состоянии была отвечать и стояла перед ним в замешательстве, и, чтобы выручить подружку, Зина сказала, сияя виноватой улыбкой:

— Ой, надо же!.. Вы нас извините!

На такую ли встречу рассчитывали девушки? Нет, конечно, они рассчитывали на другое, они всегда рассчитывают на хорошее, а получается, часто совсем не по их вине, другое. Вот уж действительно, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Ведь у Ани и в мыслях не было обидеть Ларионова! А получилась обида.

И это сразу почувствовалось в резком тоне Ларионова и в той язвительности, с какой он потребовал тут же ему выложить, кому это она хочет вцепиться



в глотку да еще тряхануть за шиворот? Конечно, глупо получилось, смешно просто! У Ани-то было больше оснований выставлять себя обиженной, да, были, были у нее такие основания, были! Пока только мимоходом скажем: были и некоторые осложняющие обстоятельства. Да разве в минуту желанной встречи, — а встреча была очень, очень, очень желанной, — разве, повторим мы, в минуту такой встречи вспоминаем об осложняющих обстоятельствах? Да Аня о них и не вспомнила, наоборот, на душе у нее сейчас бурлила, не давая даже спокойно дышать, одна только радость, несмотря ни на что, такая радость, что хоть песни пой, хоть в пляс пускайся, то есть просто до безумия хорошо было у Ани на душе. Она наконец нашла в себе силы протянуть ему руку.

— Здравствуйте, Аркадий Степанович! Рада я вас видеть. . .

Ну что ж делать, придется признать, что герой наш повел себя в эту ответственную минуту не совсем разумно, — в ответ на приветствие Ани он обронил довольно небрежно, этак скороговоркой: «Здравствуйте, здравствуйте», — причем в глаза ее не заглянул и, что совсем уж непростительно, протянутую руку Ани не пожал.

— Ой-ой-ой! — закричала Зина в страшном волнении, точно при ней сейчас совершалось нечто из ряда вон выходящее, то, чего никак нельзя было ожидать и что ни от кого не зависело, ну, скажем, вроде стихийного бедствия, и она все повторяла: «Ой-ой-ой!» В этих ее возгласах в то же время еще слышалась какая-то надежда на то, что до крайней точки не дойдет, а каким-то чудом уладится, все же воз-

можно на свете, ну, допустим, вдруг он, Ларионов, не узнал Аню, хотя должен был бы, позволим мы себе еще мимоходом заметить, бесспорно, должен был бы ее узнать.

Но бывает же, бывает, увы, мужская память страшно засорена. И ладно уж, идеальных мужчин нет, и никто на их идеальность давно не претендует. Бог с ней, с идеальностью, был бы парень как парень. Вот Зина и надеялась, зная, что парень-то он, Ларионов, ничего, да это и видно. И вдруг — эх, милый ты мой! — из уст Ларионова послышались такие кощунственные слова, обращенные к Ане:

— Я вас узнал, узнал, не смотрите на меня так.

— Что вы делаете, ой! — накинулась на него Зина с сердитым лицом.

— Я уже понял, — театрально поклонился ей Ларионов. — Вы подружка, которая все знает, от которой нет тайн. А в преферанс вы играете? Нет? А то сыграли бы, а?

Словом, бестактность следовала за бестактностью, уже такое настроение нашло на Ларионова, и да разразит меня гром, если я понимаю: при чем тут преферанс? Озорство какое-то! Аня не выдержала, у нее навернулись слезы, и она бросилась прочь, и уже было поздно что-либо исправлять, хотя в последнюю минуту спохватившийся Ларионов и сделал такую попытку, закричав Ане:

— Стойте! Стойте, вам говорят!..

Та не остановилась. Но руку Зины, тоже кинувшейся за Аней, он успел ухватить.

— Стойте, вы, случайная, как вас? Мне надо объясниться, черт подери!

Зина оказалась на удивление сильной, ей ничего не стоило выдернуть свою руку из мужской руки. Она сделала это с такой легкостью и при этом так ощутительно почувствовалась мускулистость тела девушки, что Ларионов даже удивился. А та хмуро сверкнула бесцветными своими глазами и крикнула, убегая вслед за Аней:

— Вы просто грубиян! И я бы вам ответила, поверьте, но в таком халатике я просто не привыкла ругаться. Ваше счастье, что на мне сейчас не рабочий халат! . .

«Принц или не принц?» — назвали мы эту главу. Материала для ответа здесь, я думаю, еще не достаточно, и я бы никому не советовал спешить; надо понимать: «Все мы люди, люди-человеки», и если Титова применила эти слова к специальной области отношений между мужчинами и женщинами, то она, я уверен, знает, что говорит. Эти отношения чрезвычайно сложны, и трудно сказать, почему в один момент они хороши, а в другой — невыносимо тяжки.

11. В РАЗГАР РАБОЧЕГО ДНЯ

Рыба, конечно, не самый необходимый продукт, хотя лично я уверен, что в будущем человечество только и будет питаться рыбой. Но жизнь показала: к далекому предвидению люди несклонны, живут насущным днем. И так оно, вероятно, и должно быть. Рыбу едим, когда она есть, а нет ее — и ладно, подумаешь! В прошлом ее никто в широких масштабах не разводил. Во всяком случае, как они по-современ-

ному называются, «нерестово-выростных хозяйств» не создавали, сотен тысяч рублей на это не тратили.

В Барыбе до начала стройки, о которой мы рассказываем, о таких хозяйствах и не слыхивали. А когда стройка пошла и все узнали, что роются дамбы для будущих прудов, то пруды эти в округе стали называть насмешливо «ериками». И на вопрос еще непосвященного человека: «Что тут, братцы, строят?» — отвечали: «Ерики, милый». Но я думаю, что только по недостаточной сознательности можно так пренебрежительно относиться к делу, за которым, несомненно, блестящее будущее, а пока, конечно, отношение к стройке неважное. А тут еще и сама организация работ хромает, из-за чего, собственно, и загорелся сыр-бор и в редакцию попал сигнал. А все остальное мы уже знаем, хотя, впрочем, многое у нас еще впереди.

Что бы ни переживал человек, он должен работать. Мы на этом настаиваем. В рабочее время каждый должен заниматься делом, если, разумеется, он не в отпуске, как, например, Аня и Зина.

Но даже они в этот день трудились в поте лица, и это не фигуральное выражение: Аня с утра взялась помогать отцу в составлении полугодового отчета, а Зина вместо нее, Ани, прокопалась в гараже часа три, и так как она была опытным техником, то в конце концов разобралась в хворобах мотора «бобика». И тот заработал.

А впрочем, не о них, не о девушках, речь, — важно, как другие работали, и тут мы должны сказать, что все в этот день шло на стройке как обычно: была жара, облака пыли стояли в тех местах, где грохотали

экскаваторы и бульдозеры, и до обеда эти облака не опадали. Ну, и, как всегда, звенел в конторе телефон и стучала пишущая машинка, а ближе к обеду начала чувствоваться страшная истома и в поведении людей и даже в работе машин и механизмов.

И вот в одну из этих предобеденных минут встретились у дороги, ведущей из лабиринта дамб в центральную усадьбу стройки, прибывшие из Москвы инженеры и остановились поговорить. Видно было — эти тоже поработали сегодня как следует. Наглотались пыли, нечего сказать. Были тут все трое — и Ларионов, и Титова, и Агеев. И пока Агеев стряхивал с себя пыль, а Ларионов записывал себе в книжечку результаты осмотра дамб, Титова, закрываясь зонтиком от солнца, говорила:

— Ну, жара!.. Как там у Маяковского, Аркадий? «Градусов сто, а восемьдесят наверное»?

Как видно, до Ларионова не дошли слова Титовой о жаре, тем более в устах Титовой это звучало, как особого рода заигрывание. Вместо ответа ей он хмуро пробормотал:

— Главную дамбу при шторме размоет. В плане она у нас была дальше от берега на двадцать метров... Черт знает что!..

Агеев обычно шутил, сохраняя самый серьезный вид, так он поступил и сейчас.

— Из древней истории известно, что было семь прославленных чудес света, — глубокомысленно начал Агеев и перечислил: — Египетские пирамиды, висячие сады Семирамиды в Вавилоне, фидиевская статуя Зевса в Олимпии, Колосс Родосский, храм Артемиды в Эфесе, Галикарнасский мавзолей и маяк

в Александрии. Эта стройка будет, я думаю, восьмым чудом.

Титова отозвалась издевательски коротким «ха» и посмотрела на часики.

— Скоро обед, наконец-то! — вздохнула она. — Слушайте, Ларионов, тут же не металл делают, не ракеты! Пруды для рыбхоза! Господи!..

Агеев возразил:

— Нет, зачем же, требовательность должна быть.

— Да и размоет ли дамбу? — пожала плечами Титова. — На наш век хватит.

Агеев не согласился с Титовой:

— Нет, я Ларионова понимаю. Он составил проект, его дело — настаивать. И потом написано в газету! Написано! Семь сумрачных советских служащих. Реагируйте!..

Ларионов беспокойно заходил вдоль дамбы.

— Аркадий, — сочувственно окликнула его Титова, — товарищ Ларионов! Вы не так уж нервничайте слишком. Дело служебное... И все тут понятно, ясно как апельсин!

Агееву больше всего хотелось сейчас прохлады, вкусного обеда, стакана пива. Ему даже шутить было лень, но опять он не удержался. Глубокомысленно сдвинул брови и сказал:

— Эх, други, я вам так скажу: рыбная ловля — лучший отдых от всех драм и катаклизмов. Крючок и червячок — это прямо-таки спасение для человечества, честное слово. Ну чего горячиться? (Ларионову.) В Париж не попали? (Титовой.) Путевочку в Сочи упустили? Пустяки, наверстается. Машина сработает — чуть раньше, чуть позже. Я, например,

собирался в Мацесту, а попал сюда. И что же? Крючок и червячок все выручат.

— Какой столичный блеск в рассуждениях, какое богатство старых анекдотов и басен! — усмехнулась Титова, рассчитывая, видимо, на сочувственный отклик Ларионова.

— Товарищи! — вдруг предупредительно поднял руку Агеев, увидев кого-то за выступом ближней дамбы. — Сюда идет сам директор! Самый молодой директор, каких я когда-либо встречал! . .

Появление Рудакова заставило наших москвичей прервать разговор. Директор вынырнул как из-под земли и сразу с невинным видом задал Ларионову вопрос:

— Обсмотрели уже? Ну, как впечатление?

Ларионов выдал все, что было на душе:

— Мало хорошего, к сожалению.

Мальчишеский хохолок у директора приподнялся как-то сам собой на дыбы.

— Темные пятна зарегистрированы даже на солнце, — сказал Рудаков, не моргая.

Вмешался Агеев и на этот раз вполне серьезно и даже участливо произнес, обращаясь к молодому директору:

— Вы допустили, что в Москву пошел сигнал, — вот что хуже всяких пятен, друг мой. Перед отъездом из Москвы я видел в нашем главке то самое письмо, что было послано отсюда в редакцию. . . С перчиком, я бы сказал, драматично даже! . .

— Ну, дочь нашего Климушкина писала, для нас не секрет! — воскликнул Рудаков тоном, каким ученик доложил бы учительнице, кто напроказил в клас-

се. — Она и ее подружка писали. Рот никому же не заткнешь.

— Черт знает что! — вырвалось у Ларионова, и он даже побелел.

Трудно сказать, что его так возмутило. Слова ли директора, так спокойно назвавшего одну из тех, кто писал в Москву, да еще добавившего при этом тоном полного смирения, что рот никому не заткнешь? Ехидная ли улыбочка, заигравшая на губах Титовой при упоминании директором дочери Климушкина? Возможно, обозлило Ларионова больше всего то выражение благодушного нейтралитета, которое хранил на лице Агеев. Ну, и, наконец, остается еще предположить, что Ларионова могло вывести из себя само открытие, откуда пошел сигнал и кто его автор, что, весьма вероятно, в такой точной форме не было известно Ларионову до сих пор, хотя, нам кажется, догадки у него были, и весьма основательные, еще в Москве.

Я думаю, никто не удивится, если мы скажем, что выход из неловкого положения первой нашла Титова.

— Успокойся, Аркадий! Успокойтесь, — повторила она, как бы спохватившись и тут же переходя на «вы». — Знаете, дорогой коллега, — продолжала она, снова, при всей своей опытности, сбиваясь со спокойного тона, — служебное, знаете, иногда становится личным, личное — служебным. Некоторые вообще имеют манеру принимать за чистую монету все, что им говорят. Другие увлекаются, взлетают на небеса, а потом не знают, как спрыгнуть.

Наверное, какой-то смысл в словах Титовой был,

несмотря на всю их беспонятность. Во всяком случае, до Ларионова они как-то, очевидно, дошли, потому что он, словно бы не соглашаясь с Титовой, досадливо махнул рукой. А вот Агеев бог весть что подумал или, возможно, сделал вид, будто подумал, — он запаясничал, закатил глаза к небу, вскинул обе руки, как делают, сдаваясь противнику, и воскликнул:

— Ну, тут уж пошли такие неофициальные, почти семейные разговоры, что мне, человеку женатому, пора уходить. Я в поселок, обедать. У Аркадия Аверченко сказано: жить же ж надо же ж! . .

Он тут же ушел. А Титова выхватила из сумочки блокнот и, стремительно черкнув несколько слов на листке, подала его Ларионову. Это была давняя-давняя ее манера — писать записочки. Особенно она обожала записочки в школьные и студенческие годы. В записочке она просила Ларионова задержаться тут, не уходить: она, Титова, желает кое о чем поговорить с ним наедине. . .

Нам думается, для взрослой женщины в этом желании не было ничего зазорного, тем более для Титовой, о которой уже смолоду, с очень ранних лет, можно было сказать, что она вполне способна отвечать за себя и большой глупости не сделает. А если и сделает, то по собственной охоте и зная, на что идет. Да, такова Титова. И Ларионов, разумеется, хорошо все это знал. И, наверное, оно, это знание, и руководило им, когда, прочитав записку, он довольно бесцеремонно скомкал ее, отбросил куда-то в сторону и, ничем больше не выражая своего отношения к прочитанному, обратился к еще стоявшему тут Рудакову:

— Слушайте, товарищ директор, вы в преферанс играете?

— Играю, — ответил Рудаков, ухмыляясь с таким видом, будто получил приглашение участвовать в заговоре.

Ларионов взял его под руку.

— Отлично, товарищ директор. Вечером сыграем, а?

— Сыграем, отчего ж, — ответил Рудаков с видом человека, уже согласившегося стать заговорщиком, и он даже подмигнул при этом. — С полным удовольствием.

— Очень хорошо, — сказал Ларионов и только после этого повернулся к Титовой, у которой уже попыхивали блескучие молнии в глазах.

— Я еще похожу по дамбам, Ирина Романовна, — сказал ей Ларионов. — А вы, если угодно, идите обедать. — И, как бы считая разговор с Титовой оконченным, Ларионов снова обратился к Рудакову, чем-то бесконечно довольному, что видно было по его сияющему лицу: — А кто еще у вас тут играет? Ваш бухгалтер умеет? .. О, замечательно! — тоже весь просиял Ларионов. — Сегодня же разыграем пульку. ..

И, все держа директора под руку, Ларионов ушел с ним на дамбы. А Титова, оставшись одна, с грустью покачала головой, подняла с земли свою записочку и порвала ее, обиженно бормоча:

— Ушел! Ушел от ответа! Эх, Лариосик, Лариосик! Накуролесил тут в прошлогодний приезд, ай-яй-яй! Я же чувствую, как обе девушки тобой задеты. И сильно! .. В общем. . . — Тут, не договорив, Титова достала из сумочки зеркало и привычными жестами

стала охорашиваться, продолжая сама с собой беседовать: — Удивительно точно сказано кем-то: нет таких женщин, которые, отправляясь в театр, не надеялись бы, что сами они тоже будут немножко предметом зрелища. Ох как верно!.. Это и в жизни так... Даже когда ты в служебной командировке!..

12. В РАЗГАР РАБОЧЕГО ДНЯ (продолжение)

Уйдя от Титовой, Ларионов вскоре отвязался и от директора, и долго еще ходил по дамбам один, и все смотрел, измерял, то взбегал на гребень рыхлой земляной насыпи, то сползал с откоса. Когда-нибудь эти дамбы образуют пруды, их будет больше ста, и в них будут резвиться мальки ценных пород рыб. Не ахти какое дело, в самом деле, не металл, не ракеты, как тут не признать, к слову, правоту Титовой. И вот, исходив эти дамбы вдоль и поперек, Ларионов, естественно, набрал еще больше пыли на свои штаны, чем ее было до этого, а было ее и так достаточно, и, возвращаясь уже в поселок, он увидел едущего по дороге бульдозериста и подсел к нему. И поскольку тот, несмотря на кажущуюся суровость бронзово-красного морщинистого лица и свирепое выражение резко сдвинутых лохматых бровей, оказался приветливым человеком, то между ними произошел любопытный разговор, который мы передадим здесь уже испробованным методом, то есть в виде драматического диалога.

Кузин (такова фамилия бульдозериста). Всё ходите, смотрите, товарищ инженер? В прошлом году,

помню, вы тоже приезжали и смотрели. Ну, раз вам за это деньги платят, отчего ж не ходить, не смотреть?

Ларионов. А вы делаете только то, за что платят деньги?

Кузин. Глушь у нас тут, вот что... Как в Брянском лесу. Выпить — и то негде... А так, вообще, ничего.

Ларионов. Как вы сказали?

Кузин. Я говорю, выпить — и то негде.

Ларионов. Я уже понимаю вас. Как дела-то идут?

Кузин. На заводах бывали? Когда шкивы у станков шибко вертятся, то оно даже не видно, как вертится. А у нас видно. Только и всего.

Ларионов (слыша где-то близко пение). Девчат на стройке много, я вижу.

Кузин. Казачки молодые. Что им? Погоцать, попеть... Хотя есть и серьезные.

Ларионов. Да? Есть и такие?

Кузин. А вы не смейтесь. Дочку бухгалтера Анну видели тут? И подружку ее, рыжеватую такую, не приметили? Советовал бы с ними тоже поговорить.

Ларионов (с недоумением). О чем? Они же посторонние!..

Кузин. А вы поговорите, поговорите. Не пожалеете. Прошлое лето вы, помнится, с Аней тут познакомились. Чего ж...

Ларионов (ошарашен). Однако! Хм...

Кузин. А вы не удивляйтесь. Я вас с ней тогда в ресторане видел, на станции.

Ларионов. Ого! У вас тут мигом все засекают, оказывается. Даже это засекли! ..

Кузин. Я же вам сказал: как в Брянском лесу мы, водки — и то негде... Вот и прешь после смены на станцию...

Ларионов (так смущен, что спешит переменить тему разговора). Вы сколько зарабатываете?

Кузин. Свое получаю.

Ларионов (обводит рукой вокруг). Плохо это все делается. Не так, как нужно, как должно быть.

Кузин. Вот это да. Есть маленько. Так ведь на собраниях у нас объясняют, разбирают, что почему. В газетах, по радио передают! Телевизор у вас, я думаю, тоже есть. Вы разве не слушаете? Не читаете? На собраниях не бываете?

Ларионов. Вот вы все понимаете, вижу по глазам: вы умный человек и работящий и, я слышал, умеете работать хорошо, когда захотите. Скажите по совести: почему делается это все так плохо?

Кузин. Отчего же плохо? Все-таки ничего...

Ларионов. А могли бы — блестяще!

Кузин. Могли бы, безусловно. Так ведь... в газетах и на собраниях все объясняют... По радио тоже.

Ларионов (про себя). Вот она, драма, Агеев. (Кузину.) А пока, говорите, как в Брянском лесу...

Кузин. А так и есть. Ей-богу, выпить — и то негде.

Ларионов (смеется). Все ясно... Ну, будьте здоровы.

Кузин. Доброго и вам здоровьичка...

Вот так они расстались, когда достигли централь-

ной усадьбы, — весьма дружелюбно, как видите, поговорили, и потом Ларионову самому смешно стало, — о чем разговор, в самом деле, все хотят лучшего, все же этого хотят, черт возьми. Ведь человек действительно тем и велик, что может мечтать, умом стремиться к дальним далям, взлетать, — именно так думалось Ларионову, когда он подходил к дверям столовой, где слышались веселые голоса, среди которых резко выделялся своей надменностью голос Машеньки.

Тем временем Кузин подъезжал на своем бульдозере, пыля до небес, к ремонтным мастерским стройки, чтобы поругаться с механиком, который не дает ему новых подшипников, а старые горят. А что нет у механика баббита для вкладышей, это не его, Кузина, дело. Пускай механик где хочет достает — и никаких двадцать. Пускай хоть украдет и скажет, что нашел. Вот с таким настроением подъезжал, говорю я, наш бульдозерист к воротам мастерских и вдруг увидел Рудакова, машущего ему рукой с крыльца конторы — иди, мол, сюда! А раз директор зовет, пришлось остановить машину и подойти.

Рудаков. Ну что, Кузин, как?

Кузин. Ничего. Не так, чтобы очень, да и не очень, чтобы так.

Рудаков. О чем спрашивал?

Кузин. Насчет Брянского лесу...

Рудаков. Ты дурака не валяй!

Кузин. Про международное положение говорили. Ей-богу.

Рудаков. Ты лишнего не болтай. Они все приехали и разъедутся, а нам оставаться и работать.

*

Кузин. Ну, господи ж!..

Рудаков. Жук ты, Кузин, ой, жук! Я знаю, видел, эта Климушкина дочь и ее подружка все к тебе бегали, к тебе. Это ты им помог!

Кузин. Да они тут сами все облазили, как вроде какие контролеры! Как я им запрещу? Ко мне ходили, да... Стояли, смотрели, как мой бульдозер работает. Интересно им! Эта Зина рассказывала: у них в цехе, где она работает, тоже такой вроде бульдозер-автомат строят. Сам себе работает, сам себя смазывает, сам себя чистит, и требуется только один человек — отгонять галок, чтобы не садились и не пачкали.

Рудаков. Ну и жук ты, ну, жук! Ну, пример с этим автоматом я еще понимаю, а Брянский лес при чем?

Кузин. Я пошутил. У нас же, говорю, места тут красоты невиданной. И на Брянский лес сослался. Только и всего. А по-серьезному — так имею вопрос: что, зарплата будет?

Рудаков. Должна быть. Постараюсь.

Кузин. Какие-то, слыхать, еще начальники сюда едут.

Рудаков. И пускай. Ну, приедут, ну и что!

Кузин. Могут, я слышал, остановить работы. Забраковать...

Рудаков. Не остановят и не забракуют, не бойся.

Кузин (он словно недоволен). Видишь!..

Рудаков. Что «видишь»? Тебе еще чего надо? Ты, брат, в эти дела не лезь! Не выпутаешься! Я уж это давно сказал себе... Думаешь, я лыком шит?

Кузин. Упаси бог! Нам-то на что эти драмы?..

Рудаков. Чего-чего?

Кузин. Нам, говорю, была бы зарплата да подшипники б не горели... А про драму он сказал, инженер.

Рудаков. В каком смысле?

Кузин. А бес его знает. Сказал — и всё.

Рудаков (махнув рукой). Чепуха! У нас тут не театр!..

13. ПОСЛЕ ПРЕФЕРАНСА

Не теряя времени, перейдем к другому диалогу, произошедшему в ранний час рассвета, после затянувшейся игры в преферанс. Игроками же были: Агеев, Рудаков, Климушкин, Титова и Ларионов. И как они там играли впятером, не знаю, но играли они довольно азартно, часто горячились, хохотали, спорили, так что никому не давали спать, поскольку игра шла за столом у конторы.

А лучшего места для хорошей пульки нельзя было бы тут и сыскать. Стол был широк и прочен, а щели, образовавшиеся в нем от дождей и солнца, не мешали записывать ход игры. Не менее удобным было то, что игра шла на открытом воздухе, а не в прокуренной конторе, где бог весть чем пахло, чуть ли не денатуратом и дегтем, хотя ни то, ни другое в конторе не содержалось.

Конечно, будь в эту ночь погода плохой, с дождем и ветром, нашей компании преферансистов волей-неволей пришлось бы играть здесь, но, к счастью, ночь

была на диво погодливой и совсем без ветра, а дождю тут откуда взяться, когда его не было с самой весны. Оставалась, правда, одна помеха — эта чертова темнота, ночи в Барыбе гораздо чернее, гуще и непрогляднее, чем где бы то ни было, это уж точно, даже собаки здешние не могут к ним привыкнуть и до зари истошно воют, проклятые. Однако и темнота не оказалась помехой для наших преферансистов — им светил директорский фонарь «летучая мышь», поставленный в центр стола. Так что игрокам вполне хватало света, чтобы разбираться во взятках, выигрышах и проигрышах. И, как уже было сказано, играли все с яростным увлечением, даже не заметили, как прошла ночь и свет фонаря позеленел, — так по крайней мере могло показаться, если судить по лицам играющих: они стали мертвенно-зелеными, как у привидений, и стол тоже казался зеленым и скрипел от усталости.

Ему-то досталось, бедняге. Одних анекдотов Агеев рассказал за игрой больше дюжины, а сколько было всяких шуток, смеху, восклицаний, перебранок! Мы уж не говорим об особенной манере Ларионова бросать на стол карты, производя при этом удар почти пушечной силы. А Рудаков, подражая ему, как ребенок взрослым, тоже старался посильнее грохать картами о стол, но при этом, подражая также и Титовой, по ее предусмотрительному примеру снял с руки свои часики, чтобы от ударов о стол они не испортились. А Ларионов грохал как есть, с часами на руке, но, очевидно, его часы привыкли к таким потрясениям, что ли, и продолжали всю ночь тикать как ни в чем не бывало.

В момент, когда начался диалог, который мы сейчас приведем, они точно показывали четверть пятого.

Титова. Кажется, светает, а?

Агеев. Нет, это мне не подходит. Ночь просидеть за картами! Я пас. Уже и не порыбачишь, надо спать. То ли дело на берегу посидеть с удочкой! Слушайте, Аркадий Степанович, завтра на заре или даже сегодня вечером я приглашаю вас порыбачить. Хотите?

Ларионов (выходит из-за стола). С удовольствием. Хоть сейчас.

Агеев. А дела? А дамбы?

Ларионов (шутливым тоном совершенно не уставшего человека). Что нам дамбы? Как это говорится у одного поэта: «Что нам загс? Обормоты мы. Можем свадьбу сыграть под воротами».

Титова. Фу, Аркадий, неприлично! Ах! Ах-ах!..

Ларионов. Ну-ну, больше не буду, забыл о вашем присутствии, достопочтенная матронесса. (Агееву.) Так что же, удочки, мистер, удочки-то у вас есть? Крючок и червячок? Рано же еще на дамбы, черт возьми!

Агеев. Черт возьми, конечно, рано.

Ларионов. Ну и отлично, пошли рыбачить.

Они ушли, и остались у стола лишь трое: Рудаков, Титова и Климушкин. Но вскоре и Рудаков, забрав фонарь и карты, ушел в свой домик, чтобы хоть часок поспать перед началом долгого рабочего дня, и по дороге — это слышали Титова и Климушкин — директор старался вслух наизусть заучить очевидно очень понравившиеся ему стихи про обормота, которому нипочем загс. А когда не стало видно ди-

ректора, Титова вздохнула, посмотрела в небо, сладко зевнула и сказала тихо и задумчиво сидевшему Климушкину:

Титова. Пойду и я спатки... Потревожу ваших девушек... Жаль! В палатке тесновато... Но ничего, ничего. Они у вас славные.

Климушкин. Да... Обе... Давно дружат.

Титова. Скоро уезжают?

Климушкин. Да... Осталось им уже немного... Да, уедут, буду опять скучать.

Титова. Я понимаю... (Вздыхает.) Кстати, как я поняла из разговора с ними, института они не успели кончить?

Климушкин. Да, не успели. Моя пошла с седьмого класса в педучилище, а ее подруга Зина — в техникум. Обе замуж вышли рано, еще им по двадцати не было. Спешили. Потом поняли... Пошла изо дня в день работа, работа, забота, жизнь предстала такою, какая она есть... Вам интересно то, что я рассказываю?

Титова. Да, да, конечно... (Прячет зевок.)

Климушкин. Я, пока не попал сюда, жил там же, в Новочеркасске, где они. Удивительное племя! У нас иногда говорят — молодежь заражена скептицизмом, все отрицает. Не скрою, мои девушки прошли в какой-то мере и через это... Как обычно... Сначала розовые представления о жизни, потом встреча с самой жизнью, а в ней, конечно, все подругому.

Титова. Ах, как это мне знакомо все!

Климушкин. Удивительно, знаете, смотреть, как обе девочки мои сейчас как бы заново пережи-

вают подъем веры, что ли, начинают как бы вторую юность.

Титова. Им обязательно надо институт кончить.

Климушкин. Собираются, собираются осенью поступать.

Титова. Сейчас... Минуточку...

Минуточка понадобилась Титовой для того, чтобы заскочить в палатку и взять принадлежности для умывания, и, когда она вновь появилась у стола с полотенцем на плече, Климушкин обрадовался, — он-то уж думал, что лишился собеседника. А собеседник ему сейчас был обязательно нужен, он уже увлекся, Климушкин, и будет рассказывать все, и ему спать совсем не хочется, рад, что наехало столько народу и есть с кем поговорить.

Ах, если б кто знал, что творится на душе у бухгалтера стройки, особенно такого, как Климушкин, человека, как мы уже видели, склонного к размышлениям о делах человеческих. Таких людей надо уважать, и его впрямь очень уважали на стройке. Но толковать с ним на углубленные темы не старались, да и сам Климушкин не со всяким был склонен философствовать и слыл даже человеком скорее молчаливым, нежели разговорчивым. А сейчас, видите, разохотился старик, и когда Титова, подойдя к крыльцу конторы, где был прибит рукомойник и стояло помойное ведро, принялась чистить зубы, успев бросить перед этим: «Я вас слушаю» — Климушкин с превеликой охотой заговорил.

Климушкин. Как это все смешно, право! В совсем еще молодые годы переживать вторую юность. Рассказать — не поверите! У Зины, знаете, муж был

альпинист и погиб, просто трагедия. Ребенок остался, в деревне сейчас. А вот у Ани моей могла быть семья, а тоже нету. Вы не поверите, но я все-таки расскажу!

Титова. Я ничему не удивляюсь.

Климушкин. Попался Ане муж как будто даже хороший, хоть другие и считают его шельмой. Говорят, шельма бывает чем-то мечен, а ее Саша ничем не отличался. Сам же считал себя заурядным и сто раз говорил моей Ане: «Я исхожу из простого. Человек поутру должен умыться, покушать, идти на службу или на работу, чтобы иметь заработок. Если у него в квартире нет центрального отопления, он должен подумать о дровах и уметь вытопить печку. Если квартира неважная — похлопотать о квартире. Костюм обносился — завести новый, также и жене купить что-нибудь. Если маловата зарплата или жалованье — подучиться, стать более квалифицированным, чтобы самому было хорошо и начальству приятно. Дальше этой философии идти у меня, — говорил он, — сил, образования и здоровья не хватает». И когда он сказал это моей Ане в сто первый раз, она ушла от него.

Титова (усмехаясь). Действительно, может надоесть. . . Подохнешь с таким.

Климушкин. Болит сердце.

Титова. Знаете, вы растревожили и меня. Нельзя рассказывать женщине рано утром такие истории. Действительно, навалится на тебя вся эта пошлость — и все на свете забудешь! Что есть высокое, светлое! Вы знаете — Ларионов вашу дочь не осуждает!

Климушкин. А за что ему ее осуждать?

Титова (красит губы). Ну, она же написала, го-

ворят. (Климушкин молчит.) Но допустим даже — написала! Это же благородно! Приехала, увидела, заступилась! Помощь ему, Ларионову, всем нам, и, наконец, говорит о каком-то порыве души!

Климушкин. Вас это все не удивляет?

Титова. Что? Конечно, нет. А что?

Климушкин. Сейчас я вам еще одну небольшую историйку расскажу. Лет десять назад я работал на Украине и однажды отдыхал с семьей в селе Звонковом. Аня моя тогда еще в седьмом классе училась. И вот мне тамошний колхозный счетовод такой случай привел. У известного писателя Корнейчука есть пьеса «Приезжайте в Звонковое». Однажды в это село приехал киевский театр вместе с автором, его пьесу показывать. Один старичок колхозник подходит к автору и говорит: «А где вы бачили таку звеневу, яка у вас була показана на сцене? Нема у нас такой в Звонковом».

Титова (смеясь). Ну и что? Я уже понимаю...

Климушкин. Я часто думаю: ежели бы Корнейчук показал в пьесе похожую на мою дочь, ему бы тоже сказали: «А где вы такую бачили?»

Титова. Боже мой, что вы говорите! Конечно, есть такие! Еще бы! Сознательность, энтузиазм. Мы же на этом держимся, как же, как же!..

Она уже собиралась нырнуть в свою палатку, как вдруг к столу снова вернулся Рудаков, но уже без фонаря и карт.

Рудаков. Забыл спросить, пока мы все тут сидели. Слушайте, товарищ Титова, как считаете? Вызывать из областного треста человека для процентовки? Рабочим зарплату придется же платить!

Титова (думает). По-моему, можете вызывать. А кто там у них, в областном? Кого могут прислать?

Рудаков. Дядю Филиппа, я думаю.

Титова. Ну, дядя Филипп человек покладистый, я его знаю. Вызывайте, вызывайте!

Рудаков. А Ларионов не станет скандалить?

Титова (смеется). Прослыл скандалистом! Вы его не знаете! Человек он совсем не скандальный. Вырос в детдоме, без отца-матери. Собственным горбом выбился в инженеры. Мы с ним учились вместе. У него другое есть... То, что очень дорого. Взлетать умеет. С ним хорошо в такие минуты.

Рудаков. Ну-ну, взлетать так взлетать...

Услыхав эти слова, Титова пожала плечами и взглянула на молодого директора таким взглядом, каким смотрят на что-то недозревшее, недоваренное, недоделанное, но ничего не сказала, только усмехнулась, помахала ручкой Климушкину и ушла к себе в палатку. И тут надо сказать, что и Рудаков тоже проводил ее особенным взглядом, и было в этом взгляде нечто гораздо более мальчишеское, чем полагалось бы для директора стройки, даже такой сравнительно небольшой, как та, которую он возглавлял по должности. И совсем уж по-детски озорной была ухмылка, выразившаяся на его лице, когда Климушкин после ухода Титовой задумчиво сказал:

— Она мне напоминает ртуть.

Рудаков усмехнулся, покашлял.

— Чего? Ртуть?.. Понятно... Пошли, старик, взлетим на свои кроватки и подремлем. Люблю я эти разговоры!

На этом, собственно, можно и кончить главу, тем

более — каких-либо значительных событий в этот день не случилось. Было жарко, душно в степи. Люди работали. В степи опять провели этот день и Ларионов, и Титова, и Агеев, а Климушкин по приказанию Рудакова съездил в трест и в тот же день вернулся... пешком, потому что машину велели оставить на станции ожидать новое начальство из Москвы. Вечером же опять играли в преферанс, но без Агеева — тот рыбачил.

А девушки наши?.. Девушки весь этот день помогали Климушкину в работе над полугодовым отчетом и старательно избегали встреч с Ларионовым. Тот несколько раз пытался заговорить с ними, но тщетно! И было вполне очевидно, что вчерашней ссоры на берегу они ему не простили и пока примирения не хотят.

У девушек поведение не всегда бывает понятным, — это не наше открытие, а давно известно. И часто именно в их подчеркнутом нежелании встречаться с кем-либо кроется самая страстная заинтересованность как раз в обратном, то есть в том, чтобы каждый день только и видеться! И это относится, я думаю, и к размолвкам. Сами уже по себе они, очевидно, следствие взаимного тяготения. А что при этом получается временное отталкивание, то так уж устроен мир и некого тут винить, как и получилось в описанной нами сцене вчерашней размолвки на берегу.

И если бы кто-нибудь сказал, что виноват Ларионов, то, мне кажется, это был бы поспешный вывод, недостаточно обоснованный, поскольку мы еще не знаем всех фактов и совсем ничего не знаем о том, что было между Ларионовым и Аней в прошлом году.

Нам известно только то, что они тут встретились, а что было потом? Да и вообще мы еще мало знакомы с прошлым героинь нашей повести.

Скоро, скоро мы к этому перейдем, обещаю, тем более — тут есть что рассказать.

14. ЛЕЗТЬ НА РОЖОН ИЛИ НЕ ЛЕЗТЬ?

Этак примерно часу в десятом утра, тоже солнечного и жаркого, как и все дни этого невозможного лета в Барыбе, за столом сидела тетя Ариша и вязала, поскольку уборку конторы она давно кончила и там уже вовсю стучала пишущая машинка. Кстати скажем, что стучал сам директор, просто-таки обожавший это занятие, хоть и орудовал он только одним пальцем, и именно средним, где плотно сидело золотое обручальное кольцо — знак добродетельной семейной жизни, в чем никто на стройке и так не сомневался, тем более — жена у директора была, по слухам, дочерью дальневосточного моряка-боцмана и умела держать мужа в руках.

Так вот, говорю я, в этот утренний час у конторы сидела тетя Ариша и что-то вязала, отдыхая от тяжелого мытья служебных полов, а в конторе, где сейчас особенно сильно пахло денатуратом и дегтем, и на территории всей стройки давно уже шла обычная буденная работа. Стучал в силовой движок. Густые облака пыли стояли там, где грохотали экскаваторы и бульдозеры. Вдруг из окна столовой, вернее — кухни, высунулась голова Машеньки в очаровательном сиянии белого поварского колпака с кружевами.

— Смотрите, тетя Ариша! — закричала Машенька, показывая голенькой рукой куда-то за контору. — Вы только посмотрите! Как он за ними ходит, как гоняется, прямо бегает! Ох! Какой, оказывается! .. Отстал все-таки! Опомнился! А эти тоже хороши! Не девчонки какие-то, совсем даже взрослые! Только такие бывают даже хуже нас, девчонок! ..

Не успела Машенька умолкнуть, как из-за угла конторы показались бегущие сюда Аня и Зина. Вот подбежали, остановились у стола, с трудом переводя дух. И, естественно, тетя Ариша обратила на это внимание.

— Что с вами, девчата? Лица нет!

— А ничего, — ответила Зина. — Просто так... балуемся.

— Весело вам, я вижу.

— А чего огорчаться, тетя Ариша?

— Вам хорошо?

— Нам всегда хорошо, тетя Ариша.

Машеньке бы молчать, а она подала голосок из окна:

— Знаете, что я вам скажу, товарищи? Слушайте все! Я про Ларионова этого. Сердитый какой да строгий, ужас! Симпатичный, конечно, в общем, как мужчина. Только горячий, на всех накидывается, всем выговоры. И ко мне придрался, думаете, нет? Пришел завтракать и сразу давай шуметь. Почему, говорит, на столах бумажных салфеток нет? Это-де абсурд! Для культурного человека, говорит, салфетка так же необходима, как соль, и даже более, чем горчица!

Аня и Зина только переглянулись, услыхав такой отзыв о Ларионове, и присели у стола рядышком

с тетей Аришей. А Машеньке ничего не сказали. И похоже было на то, что они вообще избегают разговоров с этой задиристой пичужкой. Не то опасались попасть к ней на язычок, не то, относясь к ней как к ребенку, старались уберечь ее от трудных, запутанных и сплошь и рядом грешных дел взрослых.

А вот с тетей Аришей Аня и Зина любили посидеть, поговорить, рады были общению с ней. И человека со стороны, пожалуй, несколько озадачило бы вот что: в отношении девушек к тете Арише была какая-то даже преувеличенная уважительность. Они слушали ее всегда со вниманием, а сами больше помалкивали, на все кивали головой в знак того, что слова тети Ариши до них доходят и что-де точно так и они думают.

И не вызывало никаких сомнений, что это у них получается вполне искренне, идет от души, хотя, правда сказать, далеко не со всем, что высказывала тетя Ариша, можно было безоговорочно соглашаться. Но, видимо, главным для Ани и Зины были не ее слова, иногда, пускай, и не совсем приемлемые, а то, что она прожила справедливую жизнь. А это, надо согласиться, в любом человеке всегда важнее всяких слов. Слова можно разные сказать, а прожить жизнь так честно и безропотно, как тетя Ариша, не каждый смог бы.

Итак, вот сидит за столом и вяжет в свой свободный часок многотерпеливая тетя Ариша, рядом с ней присели наши девушки, и, наверное, завязался бы между ними интересный разговор, но тут из двери конторы выглянул Агеев и принялся звать:

— Эй, Ларионов! Аркадий Степанович! Сарынь

на кичку! Эй! Где он? Что его по жаре носит, как летучего голландца в бурном море?

Никто не отозвался на эти слова Агеева, даже Машенька, по-прежнему торчавшая в окне, ухом не повела. И ее пухлое личико выражало лишь одно: эх вы, взрослые, смешно на вас глядеть — и только! Чего вы сто́ите, батюшки мои! Я б вам сказала все начисто, да ладно уж, продолжайте эту свою комедию, бог с вами! Вот так, казалось, и думала про себя Машенька, облокотясь обеими ручками о подоконник и обхватив ладонями подбородочек. И право же, то, что произошло перед ее глазами, и впрямь напоминало комедию.

Не дозвавшись Ларионова, который ходил сейчас где-то по территории стройки, Агеев вдруг ни с того ни с сего сказал Ане и Зине:

— Знаете, что бывает с особенно старательными людьми? Сейчас я вам скажу. Их загрызают насмерть.

Аня не утерпела, вспыхнула и бросила Агееву:

— Вас не загрызут!

— Я очумел от работы, можно же и пошутить, — развел руками Агеев. — Фу! .. Я человек тихий, не драчливый. Но в меру своих возможностей всегда отстаиваю принципы. Люди говорят: человек человеку — друг. Я говорю: нет, милые! Человек человеку — бревно!

Тут Аня совсем вышла из себя, вскочила, взялась за виски.

— Боже, какая это все ерунда!

Зина, смеясь, дернула подругу за руку:

— Сиди, сиди!

— Быть или не быть — вот драматичнейший вопрос, — продолжал тем временем Агеев. — Смотрите, что бывает! Человек попал в положение Гамлета. Ходит, смотрит, думает: «Лезть на рожон или не лезть?» Вот вопрос всех вопросов! С одной стороны, служба, зарплата, перспектива, с другой — совесть, партбюро, идеал жизни, наконец! Как тут быть?

Аня опять не утерпела, повернулась к Зине:

— Слышишь, что он говорит?

— Всё это не ново, конечно, — продолжал Агеев. — Ларионова, например, что ждет, если он полезет на рожон? Сразу пойдет: невозможный, несносный и всякое такое. И запросто работать с ним не захотят. Я знаю это совершенно точно, девушки. У него спросят: «А рабочие чертежи где? Ты вовремя выдаешь? Нет! Ага!» Все задерживают чертежи, на других стройках тоже вовремя чертежей не получают — и ничего, а из него кишки выпустят! И в отделе даже собственные его товарищи ополчатся на него. Очень просто! Останутся без премий! Опять драма, да какая! . .

Вмешалась тетя Ариша:

— Что-то вы больно пуганый стали, Павел Евгеньевич? Совсем! Совсем на вас не похоже!

Аня все тормошила подружку свою:

— Ты слышала? Слышала?

Зина сердито сказала Агееву:

— Постыдились бы хоть как мужчина!

— Бросьте, пол тут ни при чем, — махнул рукой Агеев, смеясь. — Тут дело такое, что всех затрагивает. Это для каждого драма — лезть на рожон или не лезть? Только реагируют на них люди без шекспиров-

ских страстей, потому что времена те прошли. Так-то, девушки мои милые. Драма вся часто в том, что ее нет, понимаете?

На этом Агеев кончил и скрылся за дверью конторы, и вдруг Аня, так горячо протестовавшая против его слов, сказала с горечью:

— А он не дурак, совсем не дурак! Правда, Зина?

Не успела та ответить, как тетя Ариша подхватила:

— Ну хороший же, очень хороший человек! Его вся Москва любит. Порядочный, знающий, во всем разбирается. За войну орден имеет! . .

Наверное, кто-то успел сообщить Ларионову, что его зовут в контору, а может, он был тут где-то вблизи и сам услыхал крик Агеева, — не имеет значения, важно то, что у стола как из-под земли выросла фигура Ларионова. И хотя нельзя сказать, что его появление было неожиданным, — ведь звали человека, вот и пришел, — но девушки все же вздрогнули и теснее притиснулись друг к дружке, как делают перед лицом опасности. А вот он, Ларионов, еще минут пять назад очередной раз пытавшийся остановить их и заговорить, может, с целью извиниться за сцену на берегу, он, говорю я, сейчас даже будто и не заметил их, — не спеша, вразвалочку поднялся на крыльцо, а там, обернувшись, бросил взгляд в сторону степи, где пролегала дорога. И послышались странные восклицания:

— Эге! Ага! Ого! . .

В степи, еще далеко отсюда, пылила машина, и чертовски зоркие глаза Ларионова опознали в этой машине директорский «бобик», посланный еще вчера

на станцию дожидаться большого начальства из Москвы. И вот уже не бессвязные «ого», «ага» и «эге», а вполне отчетливые слова срываются с уст Ларионова:

— Они! Они! Они! . .

Вслед за тем Ларионов как бы в смятении сбежал со ступенек и бухнулся у стола рядом с тетей Аришей и девушками, отчего те опешили, съежились, а Машенька из своего окна только усмехнулась и подумала: «И что они, чудачки, строят из себя, ой!» А тем временем наблюдаемая ею комедия у стола продолжалась.

— Видите! — совершенно по-свойски и дружелюбно сказал Ларионов девушкам, будто между ним и ими ничего не было. — Сюда едут Мостовой и Сенчихин! Видите, что вы натворили? Скандал на всю Европу! Что с вами теперь делать? . .

Тетя Ариша с шутливой миной взглянула на инженера.

— А вы не знаете будто, что с молодыми девицами полагается делать? Добрым к ним надо быть, хорошие слова им говорить.

— Правильно, — кивнул Ларионов с улыбкой. — Спасибо за совет, тетя Ариша, ладно, буду добрый. Слушайте! — обратился он к Зине и Ане. — Вы бы меня извинили, а? — Он схватил руку Ани, пожал, потом пожал руку и Зине, и те не сопротивлялись, хотя можно было предполагать обратное. — Ну, виноват, знаю, начинаю понимать, — говорил Ларионов. — Только вот что: сидеть вам здесь сейчас в халатиках не годится, крупное начальство жалует сюда, важные персоны!

— И-эх! — молодецки махнула рукой тетя Ариша. — Видали мы персоны всякие!

А с Ларионовым опять произошла перемена — улыбка исчезла, брови сомкнулись. Только что жал ручки девушкам и в порыве искреннего чувства говорил им приятные слова. А сейчас от него уже веяло холодом, глаза выражали одну только замкнутость. И что обиднее всего — он уже словно опять не замечал девушек; глядя куда-то поверх их голов, он почесал затылок, как бы собираясь с мыслями, и деловито спросил у тети Ариши:

— Что Титова? В степи? Она не спит?

— Куда там спит! — ответила тетя Ариша. — Чуть свет ушла на дамбы, как только вы в карты кончили. . .

Услышав это, Ларионов заметался, выхватил из кармана какую-то смятую газету, быстро сложил из нее треуголку для защиты от солнца и, напялив это сооружение себе на голову, бросился в сторону дамб, успев крикнуть:

— Тетя Ариша! Сделайте милость, скажите, что и я чуть свет ушел. . . туда же! . . Чуть свет! . .

На этот раз не выдержала Зина, и, когда Ларионов исчез, она в волнении вскочила и забегала у стола.

— Не принц, не принц, нет! А ты сидишь и бормочешь: «Ничего, ничего. . .» Ты ничего не видишь! Вот действительно ничего!

Так она восклицала, прижимая к своей плоской груди худощавые, жилистые руки. А вот на Аню, в противоположность подруге, нашло какое-то умиротворение, и она тихо повторяла:

— Ничего... ничего... Он же извинился, Зинуля!..

Тетя Ариша сочла нужным тоже заступиться за Ларионова и сказала, подымаясь со скамьи:

— Неудобно же ему, девчата, тут с вами при начальстве. Он, не думай, хитрый. Все мужчины ноне хитрые, и не обижайтесь, милые, а то совсем без ничего останетесь!

Высказав такое суждение, тетя Ариша двинулась к крыльцу конторы.

— Пойду Рудакову доложу про новых гостей.

Едва она ушла, Зина, все еще не в силах успокоиться, бросилась к Ане с требовательным криком:

— Скажи, Аня, только честно: а было то, что ты мне рассказывала? В ресторане, на станции, год назад? Было? Или ты все сама придумала?

Без всякой обиды Аня ответила:

— Ты не веришь? Не веришь мне?..

15. ВОСПОМИНАНИЕ О ПРОШЛОМ

Вот мы и подошли к воспоминаниям, которые откроют, надеюсь, много нового. Но прежде я позволю себе разделаться с Машенькой, то есть под каким-нибудь предлогом уберу ее, чтоб не при ней говорилось все то, что будет сказано. Потому что дело коснется слишком уж интимных сторон жизни, а милой Машеньке, совсем еще юной, незачем все это знать, хотя самой-то ей, Машеньке, кажется, что она уже познала и постигла все.

А впрочем, возможно, не следовало бы с такой

категоричностью утверждать, что наша пичужка так уж наивна. Ведь выросла она в семье, где говорили и делали все не стесняясь, и не потому, что не понимали, а по той причине, что жили в тесноте и деваться-то было некуда. А вечно сдерживаться — жизни не будешь рад, особенно в праздники, после выпивки, тут уж думаешь: черт с ним, один раз живешь на свете.

А при остром уме и наблюдательности Машеньки не замечать всего и не слышать было невозможно. Так что, видимо, ее ранняя самоуверенность на чем-то все же основана. Но мы-то ведь не обязаны усугублять ненормальное в жизни. И поэтому лучше нам отправиться в прошлое без Машеньки. Да она, кстати, и сама не может, при всем желании. У нее щи кипят, котлеты жарятся, и пора ей к плите. А мы давайте воспользуемся этим и погрузимся в материю, принятую уже только среди взрослых, и, понятно, ничего скрывать не станем.

Видите ли, в чем дело, Аня приезжала сюда прошлым летом в отпуск одна, без Зины. Приезжала, понятно, не ради прекрасных пейзажей Барыбы. Из писем отца она знала, что тут за край. Нет, она, Аня, ради того приезжала, чтобы навестить и поддержать бодрым настроением именно его, отца, добровольно зарывшегося в глуши, чтобы поддерживать ее же, Аню, деньгами, которых ей не хватало при городской жизни, а были у него еще две дочери, постарше Ани, одна служила на железной дороге, а другая трудилась в райстрахкассе, так он и им посылал. Вот она, Аня, и решила побыть с отцом хоть две недели. И случилось так, что в те же дни приезжал сюда, на стройку,

ненадолго и Ларионов, о чем мы уже, собственно, знаем. Ну, естественно, дело молодое, они познакомились, и однажды, скучая, он пригласил Аню прокатиться в районный центр. А там уж они побывали и в ресторане при станции. И, разумеется, поужинали, а заодно и потанцевали под тогда модную, а может уже и не модную музыку «Сан-Луи». Во всяком случае, публика была довольна. А известно, какая публика бывает в ресторане при станции Барыба.

Один грузчик все время требовал: «Жора, сбацай мне «Сан-Луи»!» И оркестр бацал. А почему блюз назван «Сан-Луи», черт его знает, и моден ли он, это мало кого трогало; топтались по тесному залу и, наталкиваясь на столики, хрипло бормотали: «Извиняюсь» — даже не глядя на тех, кому приносилось извинение. А тем, впрочем, было на это ровным счетом наплевать. Подумаешь — толкнули стол, чуточку вина пролилось; ничего, ничего, где пьют, там и льют, валяйте себе, танцуйте, ребята, а хотите — давайте к нам в компанию, за столик.

И не раз было, что и наши герои, то есть Ларионов и Аня, танцуя, натыкались на столики, и тоже извинялись, и их тоже приглашали к себе какие-то разгульные хлебосолы. Но они, отблагодарив, после каждого танца опять уединялись в уголке, где был их столик, и там разговаривали. А один раз даже поцеловались. Причем первая на это решилась Аня, а почему — мы сейчас же без обиняков объясним.

Вот они после только что сбацанного, кажется, в шестой или седьмой раз блюза сидят за своим столиком и ведут разговор.

О н а. Я устала что-то. . . Нам еще не пора домой?

Вдруг машина уйдет без нас. Заночевать придется тут, на станции, в приезжих комнатах.

Он. Нет, это неудобно. Надо успеть...

Она. Вы не бойтесь меня. Вы достаточно сделали меня счастливой, и больше мне от вас ничего не нужно. Да, да, это громкие слова, пусть. Я немножко выпила и могу себе их позволить. Обычно я себе не позволяю этого. Не люблю. Даже когда громко разговаривают, не люблю.

Он. Вы учительница, слышал? Что преподаете?

Она. Веду начальные классы.

Он. Закладываете в человека самый фундамент знаний. Похвально. Преклоняюсь.

Она. Слушайте, вы что стали выражаться так чопорно? Испугались того, что наговорили мне за сегодняшний вечер?

Он. Ничего такого я вам не наговорил.

Она. Нет? Так-таки нет?

Он. Нет. В любви вам не признавался, хоть вы мне нравитесь. Поцеловал вас... так вы первая меня поцеловали и назвали свой поцелуй... Как это вы сказали? От поклонницы моей мечты, что ли?

Она. Уже забыли? Ай-яй-яй! Ладно, забудем всё... Мужчине это легче, у него память и так бывает страшно засорена. Труднее нам. Но все равно я благодарна вам за вечер.

Он. А можно мне вас еще поцеловать?

Она. Нашел дурочку.

Он. Это не ваши слова!

Она. Да, подруга моя любит так говорить. В Новочеркасске она сейчас. Но не в этом дело. Вы залезли в свою нору — и я в свою.

Он. Вылезайте, вылезайте обратно!

Она. Вылезайте вы первый. Знаете что? Прочтите в знак примирения те стихи, которые вы прочитали мне здесь полчаса назад.

Он. Хорошо. Вы стоите их, честное слово, я восхищен. И буду вас, как мечту мою, потом вспоминать в этих стихах. Слушайте: «В тот день всю тебя, от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову, носил я с собою и знал назубок, шатался по городу и репетировал». Вот теперь поцелуйте еще раз. За хорошие стихи. Заслужил, а?

Она. Заслужили. . .

Откуда они могли знать, что за ними издали наблюдает бульдозерист Кузин, тоже забредший сюда в тот вечер. А впрочем, это не совсем точно, он не забрел, а пёхом отмахал целых двенадцать километров (попутной оказии не было), чтобы отвести душу часок-другой за стаканом водки с пивом. И, уже очутившись тут, Кузин, естественно, все видел, то есть видел, как приезжий из Москвы и дочь бухгалтера Климушкина, собственно, тоже приезжая, ели, пили, танцевали и целовались.

Ну и что? По-человечески сказать, занимались, так сказать, общепринятым делом, ничего особенного. И право же, у Кузина и в мыслях не появилось за что-либо осудить приезжих. Подумаешь, событие!

И тут надо сказать, что Кузин вообще любил наблюдать жизнь, сидя в ресторане (если получка была больше, то здесь, а если меньше, то в «Голубом Дунае», то есть в паршивой стоячей закусочной за вокзалом). Очень любил Кузин, говорю я, наблюдать жизнь. И вас, возможно, удивит, если я еще скажу,

что, будучи человеком грохотной профессии, день-деньской проводящим в одиночестве за рычагами, Кузин находил в ней особый смысл и выражался порой так: «В силу своей задумчивой профессии я привык все наблюдать».

Иной скажет, что бульдозерист никак не мог бы видеть в себе представителя «задумчивой профессии». Однако же факт: в лице Кузина мы встречаемся именно с таким представителем. И, понятно, привыкнув думать и наблюдать на работе, он с не меньшей охотой предавался этому и в те часы, когда сидел за водкой с пивом.

Видел Кузин, как временами Аня, смеясь, отталкивала от себя Ларионова, и хоть не слышал ее слов, но понимал, что это означает. Аню на стройке приметили, и сложилось мнение, что девушка она серьезная, порядочная. И делом хорошим занята в своем Новочеркассе, детей учит грамоте, за это следует уважать.

Ну и пусть себе эта Аня целуется с тем инженером. Слава богу, она на отдыхе. А с моральной точки зрения, очень занимающую современные газеты, Аня вполне имела право, не девочка все-таки, уже разведенная, говорят, у нее муж был. Значит, и Ларионова не за что упрекать. Не скажешь, что портит невинную девчурку, увлекает ее своим столичным блеском. Да, собственно, и блеска-то нет, — держится просто, только требователен уж очень, везде нарушения проекта видит. И то ему не так, и это не так. Ну, и, по совести сказать, дело его такое.

С Бульдеева не потребуй — он нагородит эти «ерики» черт знает как, что и оказалось, если по совести, конечно, признать. И неудивительно же — про-

стые чертежи едва разбирает. А с ячеством, чуть что, он тебе японского бога помянет.

И знаете — Кузин наш был в тот вечер недалеко от истины насчет Ани, вела она себя вполне пристойно. И если сама же раз-другой поцеловала Ларионова, то это еще не значит, что он, Ларионов, слишком уж должен приставать; у мужчин всегда так: ты им протяни палец — всю руку откусят. Вот Аня и не давала своему собеседнику за столиком чересчур расходиться. И порой отворачивалась от него и прикрывалась даже локтями, успокаивающе говоря:

— Все, все, все, дорогой! Взаимно и ни к чему не обязывающе. Ни вас, ни меня. Я в самом деле. . . Я полюбила мечту вашу и, хотя я не девочка, хочу оставить ее в себе в чистом виде.

— Останемся! — умолял Ларионов. — Заночуем здесь!

Аня качала головой отрицательно:

— Нет, милый. . . Аркадий Степанович! Завтра вас ждет работа на дамбах, а потом вы уедете к себе в Москву. Жизнь с вашей мечтой разойдется, это я понимаю. Но сегодня вы говорили о прекрасном так, как мне редко приходилось слышать. И я поняла: это в вас живет, как в сказке Экзюпери, это есть! Есть! Существует! И надо делать хорошее всегда и везде, не жалея никаких сил! Так разве для меня, женщины, не лучше вас таким запомнить, чем. . .

Он вскакивал, пытался ее обнять, и она в конце концов убежала от него в билетную кассу, помещавшуюся как раз напротив ресторанного зала, а он бросился туда же за ней, восхищенно бормоча:

— Какая девушка, черт! Какая богатая душа! . .

16. ТЫ ЕСИ

Мы забыли упомянуть, что Агеев — сыроед, всякую пищу ел только в невареном и нежареном виде. И однажды он даже напечатал статью в журнале о проблемах сыроедства. А у себя в главке раза три выступал с докладами для сотрудников на ту же тему. И надо сказать — она вполне заслуживает внимания, эта тема. В пользу сыроедства высказываются очень серьезные ученые, но приводить здесь эти высказывания мы не будем, отложим лучше на после.

Я чувствую, гораздо больший интерес вызвал бы сейчас другой разговор, а именно — что получилось у Ларионова и Ани? Чем история-то кончилась, в самом деле? Хотелось бы знать: было что-то серьезное или так, нечто мимолетное, случающееся сплошь и рядом, — встретились и разъехались, как чаще всего и бывает?

Он-то что — уехал и забыл все? Так, что ли? . .

Аня и Зина забрались в укромный уголок стройки, поближе к дамбам, и, высмотрев за одной из них местечко поровнее, устроили тут игру в бадминтон. И за игрой, гоняя ракетками по воздуху волан, ведут разговор, близко касающийся того прошлогоднего вечера в ресторане при станции, воспоминание о котором заняло предыдущую главу. И так как, кроме девушек, здесь ни души, обе достаточно откровенны.

При передаче этого разговора мы снова обойдемся одними репликами, без указания, кто говорит и что при этом делает, — я думаю, слушая разговор, все остальное можно легко себе представить.

— В общем, я вижу, обмана тут не было.

— А я уже говорила тебе сто раз: не было... Куда? Держи!

— Стихи он тебе читал хорошие, дай бог каждой услышать такие. Обещаний не давал. Все было, как сама говоришь, взаимно и ни к чему не обязывающе.

— Да. Так и было. Всё так, всё так... Ах, черт!

— Может, он потом и вспоминал тебя.

— Может быть... Держи же!..

— А не писал, хотя взял твой адрес.

— Ну, это его дело.

— А на твое письмо даже не ответил.

— Я советовала ему все бросить и ехать в Барыбу воевать... О боже! Как я могу быть в претензии? Все вполне объяснимо...

— Лучше бы в любви призналась, или хотя бы пригласила к себе в Новочеркасск. Что Барыба!

— А я себе потом так и сказала...

— Но как он этого не понял?.. Держи!

— А тут все просто. Это я, дура, когда вернулась отсюда, наговорила тебе сгоряча всякое такое — ах-ах-ах!.. А он трезво... Маленькое приключение, хотя он был искренен. Мило поужинали, потанцевали, поговорили.

— А потом ты всю зиму с ума сходила.

— А потом сходила с ума. И не жалею.

— Тебя чуть не уволили из школы! Сцепилась с дирекцией, стала шуметь, поборница справедливости! С бывшим мужем могла опять сойтись, иметь семью, а вместо того разошлась окончательно! Слушай, давай я ему все объясню, расскажу.

— Что ты, что ты? Я не питаю к нему никаких чувств... Какой у нас счет? Десять — восемь?

— Я говорю о Ларионове, не о бывшем твоем Сашке.

— Я поняла... Что Сашка?.. Нет, не надо. Сашку я вычеркнула, а его... не буду, не хочу вычеркивать, что бы ни было. Я даже поблагодарю его. За тот вечер, за зиму, за это лето... Я же стала богаче, не он. Он от меня ничего не получил.

— Теперь получит.

— Замолчи!

— Ты тоже скандалистка. Пусти!..

Маленькое объяснение этой последней реплики все же требуется, иначе будет непонятно, почему Зина вдруг упрекнула подругу в скандальном поведении. А крик: «Пусти!» — тоже может вызвать недоумение, поэтому скажем: мало-помалу в ходе разговора девушки стали задираться, особенно Зина. И когда она позволила себе со смешком заметить, что, хотя Ларионов не ответил на письмо Ани и отнесся к ней в общем-то по-свински, он все же теперь свое получит от нее, когда Аня, говорю я, услыхала это, то, сделав свирепое лицо, бросилась к подруге и зажала ей рукой рот. Вот отчего Зина и крикнула, вернее — промычала свое: «Пусти!» А потом обе отложили ракетки и присели на край дамбы.

— Как он говорил в тот вечер, Зина! Мы сидели за ресторанным столиком, а он все говорил, говорил, а я слушала как завороженная и все смотрела на его губы. Ты заметила? Он кажется резковатым, самоуверенным, а в выражении губ у него какая-то застенчивость... И все мелкое, пошлое отлетает... Во всяком случае, в тот вечер так было хорошо, и я так его понимала!

— И сейчас понимаешь?

— Пожалуй, да. Я тебе сказала только что: маленькое приключение. Нет, это я со зла...

— Ты просто добра и любишь видеть одно хорошее. А что он — знает жизнь?

— Знает.

— И так размечтался в тот вечер?

— Он меня потряс! Он говорил: неужели все то, что написано лучшими умами человечества, только создания их вдохновения и ума, а не то, что они видели в жизни? Значит, Беатриче у Данте не была идеальной? Значит, Сикстинская мадонна была лишь воплощением мечты Рафаэля о благородстве и красоте? А любовь Ромео и Джульетты? А то, что писал Чехов? Неужели мечта будет всегда только поэзией, а действительность — всегда только прозой? Нет! Жизнь должна стать такой, чтобы она отвечала высоте чувства.

— Слушаю тебя и думаю: какая может быть у женщины теория? Мы любить должны...

— Любить... Он так и говорил. Вот ты спросила: знает ли он жизнь? О, как знает! Я чувствовала: слишком даже! И любит, любит жизнь и по-своему верит в нее! Он говорил: в древней Греции на храме в Дельфах была надпись: «Ты еси». Ты есть, человек, значит, существуешь и ты, прекрасное!..

— Стой! — вскинулась Зина. — Кто-то сюда идет...

Девушки, не вставая с откоса, присмотрелись и разом прыснули, — такой смешной показалась им возникшая на гребне дамбы фигура. То была Титова. Над ее головой пламенел зонтик ярко-красного цве-

та, который, как уверяют, лучше защищает от солнечных лучей, чем, скажем, синий или зеленый, а в другой руке у Титовой торчала лопата.

— Ну как вам нравится эта погода, детки? Не правда ли, почти как в Сахаре. . .

Не ожидая, понятно, ответа, так как все было ясно, Титова присела рядом на откос дамбы, устроившись как раз посередке между Аней и Зиной, после чего со вздохом сказала:

— Что пригорюнились, девочки? Сидят под солнцем, жарятся, пап и мам на вас нету! — Тут она повернулась к Ане: — У вас отец, я знаю, а мама? Нету? — Последовал поворот к Зине: — А у вас? . . Расскажите мне о себе, девочки. Вы так мало рассказываете!

— Сфотографироваться бы так! — сказала Зина важно. — Было бы потом что вспоминать, что рассказывать.

— Ой, девочки, — с чувством проговорила Титова, — со мной бы лучше не играли в прятки! А хотите играть — поиграем. Вы тут хорошо отдыхаете, вижу, и рада за вас. И вообще вы хорошие — так говорят! Сами скромничаете, так мне о вас другие рассказали.

— Кто? — спросила Аня.

— Ваш отец хотя бы, Андрей Михайлович.

— Я думала, вы с ним о деле все разговариваете.

— Нельзя только о деле. Живые люди! А ваш отец интересный человек, видит все! Мне кажется, он из тех, кого можно назвать героем прозы жизни. Из тех, кто совершает безответно самые трудные подвиги.

Аня снова задала вопрос, но уже не своим голосом:

— А вы когда-нибудь такое... безответное... совершали?

Несмотря на запальчивость в тоне Ани, Титова отвечала спокойно:

— Наверно, нет... Видимо, нет...

Зина встала, отошла в сторону и принялась одна гонять волан по воздуху, и Титовой тоже захотелось поиграть, и, взяв у Ани ракетку, она вступила с Зиной в игру. Минуты две-три лишь один волан нарушал своим легким гуденьем тишину. Но вот Аня откашлялась и примиряюще сказала Титовой:

— Хорошо играете...

— Тяжеловата стала, — великодушно призналась Титова и подпрыгнула. — Гоп! Попрыгунья стрекоза лето красное пропела... Гоп!.. Нет, я еще на что-то гожусь...

А эта язва Зинка что сделала — вдруг между ударами по волану стала явно в пику Титовой, что было, впрочем, понятно одной Ане, стала, говорю я, цитировать те самые стихи, которые Ларионов читал Ане прошлогодним вечером в ресторане при станции:

— «В тот день всю тебя, от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову...»

— Зинка! — сердито крикнула на подругу Аня. — Черт бы тебя взял совсем!..

Что произошло бы дальше, трудно сказать, положение спасло вот какое обстоятельство: со стороны центральной усадьбы показался Климушкин, и странно было то, что он не идет, а бежит, хотя обычно вел

себя степенно и, как мальчишка, не бегал. Что-то случилось, наверное.

Когда отец Ани приблизился к дамбе, выяснилось, что ничего особенного не случилось, и Аня с огорчением смотрела на тяжело дышащего отца, в то время как тот говорил:

— Скорее, Ирина Романовна!.. Товарищ Титова!.. Вас ждут в конторе. Начинается совещание... Из Москвы начальство, из области...

— О! — сразу оценила всю серьезность обстановки Титова, не в пример Ане. — Иду, иду!

Подхватив лопату, Титова кинулась к центральной усадьбе, чтобы там переодеться в своей палатке, а Климушкин тоже хотел было устремиться туда, но Аня удержала его:

— Постой, папа!..

— Потом, потом! — отмахнулся он, делая отрицательные жесты. — Не от меня зависит, чтобы все получилось, как ты хочешь.

— А от кого же, папа? — не давала ему уйти Аня. — От кого и чего это зависит?

Он все-таки вырвался и убежал, и Аня хотела броситься за ним, но Зина загородила ей дорогу и силой остановила.

— Не пущу! Не пущу, слышишь? Успокойся! Никаких драм, поняла? И всё!..

— Что всё? — волновалась Аня. — Нельзя же так!

— Можно, можно! — твердила с остервенением Зина. — Ты же слышала: человек человеку — бревно, старательных загрызают насмерть!

— Но ты же сама в другое веришь? Я же знаю, — с болью говорила Аня. — Ты тоже с ума сходишь!

А если хочешь меня успокоить, то скажи: от кого и чего зависит, чтобы люди всегда были честными и чистыми, чтобы порыв настоящей человечности оставался в нас всю жизнь и не остывал?.. Что, что для этого надо сделать?

Зина ответила с бледным лицом:

— Ну, потерпи, немножко хоть потерпи! Это же не может не прийти, настоящее! «Ты еси»... Ну, надо же верить, черт бы нас с тобой взял!.. Сама же говорила, сама, так молчи! Молчи!..

17. СЕНЧИХИН И СТОЛ

Вы, конечно, не поверите, что такое было, но против рожна не попрешь, что было, то было, на свете все случается. И отчего же не могло быть того, что, как уверяют барыбинцы, случилось в первый же день приезда высокопоставленного начальства на стройку? А случилось вот что: еще до начала совещания, открывшегося в помещении конторы часов в одиннадцать утра, у Сенчихина состоялся разговор... со столом, и, я думаю, не надо напоминать, что речь идет о том самом столе у конторы, который чего только не насмотрелся и не наслушался.

Вот у этого стола сидел, говорю я, до начала совещания Сенчихин и отдыхал с дороги. Устал человек, вполне понятно. Он обмахивался — было жарко — журналом «Огонек», вынутым из большого портфеля чешского производства, с блестящими застежками, того самого, который был у него в руках, когда он и Мостовой стояли в Москве у своих машин после

обеда и толковали о лечебных травах и Барыбе. И видите — прав оказался Мостовой, коллегия министерства поддержала идею о необходимости выезда большого начальства на место, в глубинку, и вот они оба здесь.

Мостовой тоже устал с дороги, человек все-таки пожилой, волосы у него хоть и хорошо сохранились, но давно поседели. И все же чувствовалось, что энергии у члена коллегии еще много и характер у него непоседливый. Этот сразу пошел бродить с директором по центральной усадьбе, зашел и в гараж, и в силовую, и в ремонтные мастерские, и здесь Мостовой задержался особенно долго: дело в том, что когда-то, в комсомольские годы, он, Мостовой, работал токарем по металлу, ну, и естественно, ему было интересно станочек потрогать, ручку суппорта покрутить, определить, правильно ли установлен по центру резец.

А Сенчихину все это было неинтересно. Он с подобным дела не имел. Он в комсомольские годы работал секретарем в горисполкоме, потом учился на юриста, но вскоре перешел в технологический институт. И, если говорить правду, знал дело лучше Мостового. Тот законченного высшего образования не имел, замотало человека на партийной работе, в те годы это не с ним одним было, зато орденов и медалей Мостовой имел куда больше, чем Сенчихин, и вообще считался более заслуженным человеком и, между нами говоря, более доступным, чем Сенчихин. Этот держал себя с подчиненными сухо и официально, в то время как Мостовой мог и попанибратствовать с кем угодно, и с вышестоящими и с нижестоящими, и почти

всем говорил «ты», чего Сенчихин почти себе не позволял, так как это был человек строговатых правил.

И потому, можете себе представить, как насторожился он и даже нахмурился, когда, отдыхая у стола, вдруг услышал обращенный к нему голос:

— Что, милый, жарковато у нас, а? А ты сыми пиджачок-то, хотя бы расстегни, — все полегче будет. . . У нас Барыба, брат. . .

Голос исходил из стола, несомненно, — вокруг в эту минуту никого не было. Да и никто другой здесь, на стройке, пожалуй, и не смог бы произнести такие слова: все-таки начальник главка — и вдруг ему по-свойски говорят «милый» да еще братом обзывают. И, понятно, Сенчихину ничего не оставалось, как принять позу человека, не желающего позволять кому-либо забываться при нем. А стол между тем сказал еще вот что:

— Ты, голубчик, приготовься малость потрудиться тут. . . Работы — во, и ха-а-рошая подмога нужна, чтоб ерики-то эти в порядок привести. Дело-то, брат, нужное.

Сенчихин вначале было хотел не отвечать, но (мы потом объясним его состояние) не выдержал и не без досады произнес:

— Времечко пришло! Столько развелось всяких критиков и советчиков, что шагу не ступишь, чтобы с разных сторон не накинулись: делай не так, а этак, делай этак, а не так! В газеты пишут, на собраниях шумят, разбултыхалось море! Так же невозможно работать, черт знает что!

— Э, нет, — возразил стол. — Я бы сказал, милый

ты мой, другое: это и хорошо, очень даже, что шумят и пишут. Без этого было бы худо, право слово говорю. . .

Сенчихин сердито постучал по столу согнутым пальцем.

— Но, но, но! Вы что заговорили, уважаемый? Что-то больно осмелели все.

— Мы? Это мы-то, говоришь, осмелели? — послышался смешок стола. — А почто бы и нет? Ты, милок, почитай, что пишут сейчас в газетах-то. Пишут: человек рождается не для безропотного повиновения и не для осторожненького существования на земле.

— В газетах разное пишут. . . — махнул рукой Сенчихин и хотел еще что-то сказать, но в этот момент около стола, держась, правда, на значительном отдалении, показался Бульдеев, и стол все с тем же смешком сказал Сенчихину:

— Вот, милый ты мой, товарищ начальник, наш прораб, человек, у которого образование на двоих с братом. И очень ему интересно, кстати бы, знать, чем ноне дышат, которые повыше. Объясни ты ему, дорогуша! . .

Сенчихин совсем надулся.

— Это еще что за глупости?

— О, не бойсь, не бойсь, милок, этот критиковать не станет. Этот другой. . .

— Что вам угодно? — повернул Сенчихин голову к прорабу. — У вас заявление?

— А подать? — ухватился Бульдеев. — Это мы мигом, у-у! Все изложу как есть!

Тут к Сенчихину начало возвращаться самообладание, и он с усмешкой сказал:

— Еще один советчик выискался, господи боже! Хватит и того, что тут у вас какие-то две девицы, да еще чужие, написали в газету. Шутки это вам тут, что ли?

— На девиц, значит, писать? — Бульдеев не спускал глаз с приезжего.

— Ни в коем случае! — встревожился Сенчихин. — За них заступится газета!

— Тогда на Ларионова, а? Можно? ..

Не отвечая прямо на вопрос прораба, Сенчихин деловито покашлял.

— Вы вот что, дорогой. Пойдите в мастерские и скажите товарищу Мостовому, что я прошу его больше не ходить, у него инфаркт недавно был и давление высокое, понятно?

— Слушаюсь. Это мы враз! ..

С величайшим рвением, на какое только был способен Бульдеев, а в рвении он всегда бывал неистов, с самоотверженной готовностью снести на пути все, но выполнить приказ кинулся прораб к мастерским. А навстречу ему откуда-то с берега показались Аня и Зина.

И был момент, когда казалось, они будут раздавлены, но, как и в случае с Машенькой в ночь приезда Ларионова, драматического столкновения не произошло, — наверное, потому, что, хотя у Бульдеева в моменты служебного рвения терялось зрение и он как бы становился слеп, у Бульдеева, говорю я, несмотря на это, наверное, имелось какое-то хитро вмонтированное в него природой особое устройство, позволявшее ему, наподобие летучей мыши, чувствовать окружающие предметы и не натыкаться на них.

Это устройство, видимо, сработало и на сей раз, и Бульдеев благополучно разминулся с девушками. А те, не доходя до конторы, повернули к палаткам. И, пока они не скрылись за пологом одной из палаток, Сенчихин с большим вниманием приглядывался к девушкам, и тут опять раздался голос стола:

— Это они, они, милок, те самые...

Сенчихин покачал головой и, по-прежнему не удостоив стол прямым ответом, а обращаясь как актер в публику, сказал с иронией:

— Ну, ясно: дети!.. Современные дети! Им ничего не стоит вмешаться в самые серьезные дела!.. Не вникая ни в задачи, ни в цели, ни в реальные возможности!..

18. О НЕУПРАВЛЯЕМЫХ ЯВЛЕНИЯХ И ПРОЧЕМ

Вскоре после приезда высокого начальства в конторе началось совещание. И пока шел разговор о положении на стройке, люди в степи работали. Но, правда, время от времени некоторых из них вызывали сюда на совещание. И те подъезжали к конторе прямо на своих экскаваторах и бульдозерах и оставляли свои машины у крыльца, как, к примеру, лошадей оставляют, привязывая их к забору или дереву возле дома.

Вот нечто подобное происходило у конторы. И в момент, с которого мы начинаем эту главу, сюда только что подъехали на мощных скреперах двое молодых ребят в синих комбинезонах.

Нам еще предстоит посидеть на совещании, не на этом, а на другом, попозже, поэтому махнем мимо

директорского кабинета, где гудят голоса участников совещания, и заглянем в небольшую комнату бухгалтерии. Тут тишина. На скамье у стены сидят Мостовой и Ларионов и беседуют.

Мостовой. Ну, Аркадий, как хочешь. Я думал, пока там Сенчихин ведет совещание, с тобой по душам, подобру-поздорову поговорить. Ты — ни в какую! Ну давай хоть насчет Гали поговорим. Ты ее совсем оставил? Не встречаетесь даже?

Чувствовалось — он хочет мира с Ларионовым, очень хочет и готов быть уступчивым, но, с другой стороны, в то же время как бы требует: будь и ты уступчив, брат.

Ларионов. Нет. И поставим точку.

Мостовой. Ну, дело твое, дело твое. Дура она, конечно. Как-то пришла на тебя жаловаться: ты и такой, и сякой... Дикие мысли высказываешь. «Какие же мысли?» — «А такие...» — говорит. «Ну, например?» — «Вот он так сказал: там, где нет возможности спорить и выражать свое мнение, невозможно и согласие». — «Ну, говорю, Галя, милая, тут же нет греха!..» Ушла со страшной обидой... Ну, что народ у нас разный, мы все знаем. Я с тобой искренен, поверь!.. Я теперь больше всего ценю искренность, прямоту, честные суждения, уважение к самостоятельной личности. Крой правду, как есть.

Ларионов. Рад слышать.

Мостовой (с раздражением). Задним умом мы все, брат, крепки. Оставь!

Ларионов. Я рад, честно говорю.

Мостовой. Ты опять скажешь: мы сами виноваты в пассивном исполнительстве, а сейчас кричим

о самостоятельной личности. Ну что ж, перемены коснулись всего... Признаюсь тебе: я сам тоже сильно переменился, не терплю чинопочитания и, поверишь ли, как о лучших днях моей жизни вспоминаю время, когда работал на заводе у станочка... Вот так... (Как бы стучит молотком.) Тук-тук-тук... Искренне говорю, Аркаша, честное слово! Я больше всего боюсь знаешь чего? Бесчестной аморальности. Смотрю на некоторых своих товарищей: какие были энтузиасты! А сейчас аморальные люди! За все проголосуют. За белое, черное. Нахватались, как овцы репьев. Знаю, и я нахватался, делал то, чего не хотел. Но черт подери! Коммунисты же мы! Ты, я, Сенчихин, директор здешний Рудаков, Титова, Агеев и даже Бульдеев этот — все мы одним временем рождены. Ты понимаешь?

В дверь вдруг влетел Бульдеев.

Бульдеев. Извиняюсь!.. (Тут же исчез.)

Ларионов. Вот кого надо гнать.

Мостовой. Тут многих надо гнать, а с кем работать? Нет, брат, не тот путь! Я тебе другое скажу: мы, мы, вот что! (Стучит себе в грудь.) Черт подери, ведь Ленин называл таких, как мы, руководителями народного труда! А мы что? Принимаем хорошее решение, а потом начинается поток рутины!..

Ларионов. Поток... что же его рождает?

Мостовой. Не задавай мне каверзных вопросов, я тебе их сам могу задать! Я, дорогой, не ухожу от ответа, и поверь мне, старику, я отнюдь не вас, проектировщиков и строителей, виню в плохом состоянии стройки, а прежде всего себя и Сенчихина, наш аппарат. В нашей работе есть что-то сковываю-

щее, не дающее человеческим силам полностью развернуться, это надо признать... А кстати, ты, я помню, в спорах со мною прежде все твердил о некоторых неуправляемых явлениях в нашей жизни. А сейчас ты как?.. (Берется за грудь.) Теснит что-то, болит... С удовольствием я здесь... Просто рад отойти от министерской суеты... У тебя валидолу нет?

Ларионов. А что? Принести?

Мостовой. Не надо... Признаться, я нарочно тебя сюда выгнал. Во-первых, дело. А во-вторых, думал — встретимся, поговорим. Приезжаю — мне докладывают: Ларионов скандалист!

Ларионов (вскочил, кричит). Да не было никакого скандала, черт возьми! Хоть вы не поддавайтесь всей этой бузе! Суть-то в другом!

Мостовой. В чем?

Ларионов. Главная дамба стоит не на проектной линии, и ее надо передвигать! На целых двадцать метров! И остальное плохо, из рук вон!

Мостовой. Не кричи, а помоги исправить.

Ларионов. А от меня ничего не зависит!

Мостовой. А-а-а! Все на том же стоишь, на своем! Опять скажешь «неуправляемые явления»?.. Слушай, давай уж начистоту. Вот по дороге сюда я в вагоне прочел в одной статье. (Вытаскивает из кармана газету.) Ну, слушай. (Читает.) «Беспокоит одно человеческое качество, получившее у нас широкое распространение, качество, которое я бы назвал «гражданским снобизмом». Как все всё хорошо понимают, как научились говорить! Сколько встретишь собеседников, которые мечут громы и молнии против зла и неурядиц в нашей жизни...»

Ларионов. Я же этого не делаю...

Мостовой. Не перебивай! (Продолжает читать.) «...Мечут громы и молнии, а вот претворить эти «метания» в какое-то реальное дело не торопятся. Я, дескать, высказался, не смолчал, а дальше хоть трава не расти — вот что различаешь за такой шумливой храбростью. А как же насчет драться? Кто станет выполнять за нашего храбреца эту хлопотливую и небезопасную функцию? Дядя?..»

Ларионов. Я думаю, автор статьи сам прекрасно понимает, отчего это происходит, а всей правды не пишет.

Мостовой. Ну, допустим... Так уж сложилось по известным причинам... Но сейчас это все меняется. Трудный процесс. (Кладет руку на плечо Ларионова.) Меняется, меняется! Иначе не может быть. Ты вот что, послушай меня, старика: будь благоразумен и делай свое дело. Помогай!.. Делай! И не умствуй особенно.

Ларионов. С вами спорить нельзя. Это я давно знаю.

Мостовой. Как это нельзя со мной спорить? Что за слова такие, черт тебя подери! Ох, что-то нехорошо мне...

При последних словах Мостовой схватился за сердце и, как бы не чувствуя его сквозь одежду, снял с себя пиджак, но тут же снова натянул его на себя, так как из коридора в комнату заглянула Титова.

— Простите, я послана к вам, чтобы...

— Мы кончаем, — перебил Ларионов. — Сейчас придем, скажите.

— Да, да... Сейчас мы... я только... Ох! — опять

взялся за сердце Мостовой. — Мне бы валидолу... Дайте кто-нибудь... Валидолу!..

Со скамьи Мостовой чуть не сполз на пол, но Ларионов успел подхватить начальника и с помощью Титовой усадить обратно на место, после чего Титова набросилась на Ларионова:

— Ну что же вы стоите, Аркаша? Попросите там у кого-нибудь! Агеев всегда при себе носит, скорее!

Затем Титова оттолкнула Ларионова, хотевшего броситься к двери, и сама метнулась туда с воплем:

— Товарищу Мостовому плохо! Пришлите Агеева! Агеева! Ой, какие вы бестолковые!..

На крик прибежали все: Сенчихин, Рудаков, Агеев, Климушкин, тетя Ариша, Кузин и молодые скреперисты, у которых по-прежнему висели на ремнях через плечо транзисторы. И толчея в комнате образовалась порядочная, и громче всех звучал повелительный голос Сенчихина:

— Что тут такое, позвольте-ка!..

Он взял у Агеева валидолинку, передал Мостовому и обратился к Рудакову:

— Врача надо! Есть здесь у вас врач?

Ответила за директора Титова:

— Я уже выясняла. Нету врача.

Но директор все-таки счел и себя обязанным ответить начальству и сказал:

— Откуда у нас врач? К сожалению...

— Аптечка же есть, — подала голос тетя Ариша. — Висит в коридоре...

— А я ее прихватил, вот, — протянул Климушкин

начальству ящичек с красным крестом. — Нашатырь, валерьянка, не мешало бы дать.

Сенчихин с подозрением поглядел на протянутый ему флакон валерьянки и не взял.

— Ну как, лучше вам, Александр Макарович? — нагнулся он к Мостовому и вот так, не выпрямляясь, осуждающе покосился на Ларионова. — Что тут у вас было? — спросил затем Сенчихин и неодобрительно покачал головой. — Одни неприятности, срывы, провалы, как тут не скопытиться? Никаких нервов и сил не хватает... Черт знает что!..

— Бросьте! — силился встать со скамьи Мостовой. — Не оплакивайте меня, я еще жив и живой в могилу не лягу. Вы... — обратился он ко всем сразу, — зачем работу прервали? Прошу продолжать!.. У меня бывает, не обращайте внимания... Я уже... почти нормально себя чувствую...

— Вызовите врача из города! — повелел Сенчихин Рудакову.

— Врача из города, живо! — крикнул Рудаков Климушкину.

— Я позвоню, на вас тут надейся, — сказала Титова и поспешила в директорскую комнату, к телефону.

19. ДУША ВО МГЛЕ

Вечер, но еще не поздний, вдали, за дамбами, закат, хорошо в эти часы в барыбинских местах. Жары и зноя нет, пыли нет. Мягкий ветерок с водохранилища как бы метлой прочищает воздух, и становится

легче дышать, грудь крепнет, глаза веселеют. И вообще в окружающем больше начинает чувствоваться человек, а не машина, как днем.

Чудесные песни доносились в этот вечер с берега водохранилища и с лодок, на которых катались парочки. То пели девчата-казачки, работающие на стройке бетонщицами и каменщицами, славные в общем девчата, всегда веселые и лихие, готовые при случае и подраться друг с дружкой, коли вечером на танцах их интересы в чем-то не сошлись, а так в общем, говорю я, очень славные, крепкие, боевые. И что еще хотелось бы отметить, это их пристрастие ярко накрашивать губы, — такой уж обычай у них, чтоб губы горели ярчайшим пламенем, несмотря ни на что. Лицо в известке — это ничего, блузка и юбка в растворе или в белых пятнах побелки — тоже не беда, а губы ненакрашенные — это уж никуда не годится, ходить с какими-то бледными, неинтересными губами, боже ж мой, свои же засмеют! А парни и смотреть не станут!

Так вот, говорю я, песни в тот вечер звучали на диво раздольно, звонко, и могло казаться, что поет вся Барыба.

И хотя мы где-то в начале, кажется, сгоряча отзывались о ней, о Барыбе, не очень лестно, даже называли чертовой, надо признать, — а ведь край-то чудесный, ей-богу, и люди тут живут славные! Судите хотя бы по молодым казачкам. Да и ветры тут, мне кажется, не такие страшные, и пыли тут, пожалуй, не больше, чем в других местах. Зато какие закаты, — где еще есть такие, не знаю!

И в то самое время, когда солнце плавно садилось

за изрытый дамбами горизонт и на берегу звучали многоголосые хоры казачек; в то самое время, когда над крышами десятка финских домиков, составлявших, собственно, весь поселок стройки, вился из кухонных труб дымок, а в домишках за столами люди пили чай или водку и, в отличие от Бульдеева, без споров, а мирно разбирались с женами, куда девается их получка, что ее постоянно не хватает; в то время, когда уже гасли последние лучи солнца и только в окнах конторы еще догорали багрянцем заката две банки с вишневым вареньем тети Ариши, — в это самое время из-под крыльца конторы вдруг вылез весь испачканный Бульдеев, и так как в эту минуту перед его распухшими глазами не оказалось решительно ничего, к чему можно было бы прицепиться, и не оказалось никого, с кем можно было бы поговорить, то наш прораб не нашел ничего лучшего, как доползти на четвереньках до стола, грохнуться там на скамью и заговорить с самим собой:

— Вот поспал так поспал, а? Все небось проспал, а? Хорош! Можно сказать, главный закопёрщик, сам все закрутил! И — в собачью конуру залез да все забыл. Может, меня чем-то опоили? Может, кто нарочно туда затащил? Может, это вредительство, а?..

Не дожидаясь ответа на вопросы, неизвестно к кому обращенные, Бульдеев порылся в кармане своих галифе и нашел там скомканный листок бумаги, который он принялся с величайшим старанием разглаживать на замасленном колене, бормоча:

— И что я теперь с этим заявлением-то буду делать? Главный же материал!

И тут донесся до него голос стола:

— Ты всю жизнь свою проспал, милый. И ведь все чаще, браток, начинаешь это сам понимать. Вчера ты Климушкину сказал: «Мне бы вашу голову, Андрей Михайлович!» Два дня ты ходил за ним, добивался, чтобы он помог тебе заявление составить на Ларионова. Эх, милый! Отказали тебе, ясно, и ты попер на станцию, и там тебе кто-то за водку все составил. И человек этот привез тебя сюда мертвецки пьяным. Зачем пьешь? Что хочешь забыть? От чего уйти?

— Я люблю честность! — отрубил рукой Бульдеев, растроганный этими словами стола. — Я люблю справедливость! — еще раз рубанул тяжелой рукой Бульдеев, потом, нагнувшись к столу поближе, слегка постучал о ножку. — Слушай-ка, ты меня уважаешь, а? Эй! Подскажи, дорогуша, что делать мне? Подавать это заявление или не подавать?

Кажется, в голосе стола послышалась горечь, когда тот отозвался:

— А что тебя смущает? Ты же столько гадких бумаг написал, столько подлых вещей делал!

— Время-то сейчас какое, не разберу! — сказал Бульдеев тоже с горечью. — Куда идет?

— Вот чего ты боишься! Времени не ощущаешь. Время — крот, брат, и роет глубоко.

— Пшел ты! — выругался Бульдеев и пхнул от себя стол, отчего тот зашатался и чуть не рухнул, затем, не удовлетворившись этим, прораб погрозил кому-то кулаком. — Я покажу этому пернатому хищнику! Скандалы устраивать? Все видели!..

Как раз в эту минуту из общежития для приезжих вышел человек, которого мы еще тут не встречали.

Весь он с головы до пят, а точнее — с очень заношенной кепки до старых, истоптанных башмаков, был сер, как воробей или как барыбинская степь в конце лета. И как эта степь бывает изборождена в засушливую пору трещинами, так и лицо человека в кепке было изрезано глубокими морщинами, тоже казавшимися трещинами.

Это был дядя Филипп из областного треста, который и считался хозяином стройки, хотя вся его, треста, роль сводилась к тому, что время от времени сюда наезжал этот самый дядя Филипп и выводил процентовку для банка, чтобы Климушкин мог получить и выплатить деньги рабочим стройки и немногочисленному административно-техническому персоналу. И, разумеется, все тут хорошо знали дядю Филиппа.

Его появление вызывало общее оживление и подъем духа, особенно у тех, кто с трудом дотягивал до очередной получки. И каждый старался здороваться с ним за ручку и не забывал уж непременно осведомиться о здоровье и угостить папиросой.

— Закурим, дядя Филипп, затабачим, на том свете шось побачим. . .

Он брал папироску и закладывал за левое ухо, а за правым у него всегда торчал огрызок столярного карандаша. Папироску он отдавал потом кому-нибудь, так как сам не курил, но отказываться от угощения не любил, и опять брал папироски, которые ему предлагали, и опять раздавал их, и за это все уважали дядю Филиппа, и редко кто вступал с ним в спор, — незачем было спорить, про дядю Филиппа все знали, что это очень справедливый человек, чест-

ный, он никогда никому ни в чем не откажет. И пусть никого не удивит, что когда он вышел из общежития для приезжих, то услыхал приветливый возглас стола:

— Здравствуй, дядя Филипп!

— Здоровеньки булы, — отозвался приезжий приятным баском и, кивая на Бульдеева, подмигнул столу: мол, веселая у тебя компания, — на что стол отозвался:

— Оставь его, дядя Филипп, уйди куда-нибудь, а то он и к тебе начнет приставать. А ты только-только пешком притащился со станции, не было машины...

Так и получилось, — едва Бульдеев заметил приезжего, как сразу закричал:

— И дядя Филипп тут! Вся империя! А ты-то зачем из области притащился?

— Зарплату хочешь? — усмехнулся дядя Филипп. — Я же процентовку для вас вывожу, не папа римский.

Бульдеев с удовольствием захохотал.

— Ты бы в другой раз, чудак! Тут у нас начальства понаехало сорок сороков. Заклюют!

— Велели прибыть, значит, — отозвался дядя Филипп, распрямляя в улыбке свои морщинки. — Явиться, выходит, на суд...

Бульдеев подхватил, припевая и начиная подплясывать:

Получил повестку в суд.
Я иду трясуся.
Присудили сто яиц,
А я не несуся!..

— Тихо, тихо! — забеспокоился дядя Филипп. — В общежитии начальство лежит почти в инфарктном состоянии, а ты частушки орешь!..

— Эх, дядя Филипп, дядя Филипп! — дважды повторил с чувством Бульдеев. — А ты уж испугался каких-то инфарктов! Нет, брат, наш народ инфарктами не запугаешь! — совсем разошелся Бульдеев, но, впрочем, тут же затих. — Слушай-ка, дядя Филипп, ты человек честный, ты человек справедливый, давай я тебе прочитаю, что у меня тут написано, в заявлении. Я его так назвал: «Буря в тихую ночь». Как оно, ничего? Ну, слушай, слушай дальше, — продолжал Бульдеев, подходя к дяде Филиппу и обнимая его одной рукой. — Ты человек хороший, и я тебя уважаю, а он, Ларионов этот, хищник! У меня так и написано: «Было часа три ночи...» — (то когда приехал он, этот хищник, значит.) «А где ваш начальник?» — раздался крик... Раздался крик, да... Я ответил: «Они почивают, а вы зайдите в палаточку, отдохните». А он давай: «Я не приехал сюда спать, я приехал работать! Дать мне свет, дать мне начальника, меня сюда послал министр, не стану я здеся... не стану я, значит, с вами церемониться, подать сюда Рудакова!..» Здорово написано, а?

Дядя Филипп пожал плечами.

— Напорол ерунду. А зачем?

— Как зачем? — вскипел Бульдеев. — Ты что? Совсем меня не уважаешь, да? Ты знаешь, во сколько мне это заявление обошлось? Нет, ты слушай, слушай и не обижай меня, дядя Филипп! Я люблю честность, я люблю справедливость! У меня тут написано: «А потом сей муж...» Какой муж? Тьфу! Тут надо «хищ-

ник» вставить... «А потом сей хищник подскочил к дому директора и стал громить дверь и окна...» Это хорошо, так и было!.. «Тут весь поселок выскочил на улицу, детишки плачут, жены в обморок падают, а Ларионов...» Ларионов или Ларивонов? «А он, хищник, свое кричит: «Я не в игрушки играть приехал, я вам покажу, как инженера на грузовике возить! Я вас всех увольняю, вы все напортачили, дамбу контурную надо переделать и передвигать, другие дамбы тоже никуда, я вас всех увольняю, вы тут больше не работаете!» А ребята сказали: раз так, надо уходить! И рабочие так и делают, уходят со стройки...» Постойте, дядя Филипп, вот конец: «Неужели же, спрашивается, легковая машина может стать причиной такой катастрофы?..»

— А на черта тебе это все сдалось? — не вытерпел дядя Филипп. — Злобствуешь, а надо человечно подходить.

— Человечно? — ухмыльнулся Бульдеев. — Это так в газетах пишут.

— Не валяй дурака, Бульдеев...

Об ухмылке Бульдеева стоило бы сказать больше, она, пожалуй, многое раскрывала в этом человеке, выдавала его какое-то особое озорство, что ли: скажет вдруг что-то необщепринятое, то, что при других обстоятельствах сам же горячо бы отрицал, скажет он это и, словно напроказивший ребенок, весь осветится лукавой ухмылкой: дескать, и я умею при случае сказануть нечто, да, да, и я, брат, не лыком шит! И вот именно это и выражалось сейчас на одутловатом лице Бульдеева. И, наверное, он бы еще что-нибудь сказанул под такое настроение, но этому

помешало появление Сенчихина, врача в белом халате и Рудакова, вышедших из общежития для приезжих.

При их появлении Бульдеев, естественно, сразу преобразился, посерьезнел, подтянулся, даже руки вытянул по швам. И, пока Сенчихин и врач, прибывший по специальному вызову со станции, толковали у дверей общежития о том, что у Мостового ничего страшного не обнаружено, но покой ему нужен, пока Рудаков, стоя рядом с Сенчихиным и врачом, незаметно для них издали грозил Бульдееву кулаком, пока Сенчихин и Рудаков не ушли провожать врача к дожидавшейся его у дороги карете скорой помощи, чтобы ехать обратно в город, Бульдеев стоял все в той же позе с вытянутыми по швам руками.

Но вот он наконец очнулся от странного столбняка, который его всегда охватывал при виде большого начальства, и теперь уже чувствовалось — Бульдеев был в другом настроении, ни за что не стал бы он теперь что-то такое себе позволять, а тем более говорить необщепринятое, то есть то, что у него называлось в озорные минуты «сказануть». Теперь это был Бульдеев как Бульдеев, и лицо его выражало даже что-то подавленное, грустное.

— Так что ж советуешь, а? — обратился он к дяде Филиппу, все еще стоявшему у стола. — Советуешь, чтобы человечно, а?

— Всегда лучше, — подтвердил дядя Филипп. — Во все времена надо так.

— Растерялся я, — в затруднении чесал затылок Бульдеев. — Как известно, я родился после револю-

ции. Дорога моя была тяжелая, извилистая. Какие только перепитьи я не прошел, каких только сомнений и слабостей не преодолевал, какую только ломку не делал!

— И доломался вконец, — заметил дядя Филипп.

— Японский бог ты мой! — вырвался стон у Бульдеева. — Я же искал защиты со стороны коллектива, но никто не встал за меня. Ты-то как, дядя Филипп, скажи: начальство чувствуешь?

Смеясь, дядя Филипп ответил:

— Еще как, брат, чувствую...

— Тогда пойдем, пойдем, — схватил его за руку Бульдеев. — Скажешь, как ты его чувствуешь? Я вот никак! Душа во мгле!..

И прораб утащил дядю Филиппа куда-то за контору.

И едва их не стало видно, как снова показались только что проводившие врача Сенчихин и Рудаков, а навстречу им откуда-то выскочили Аня и Зина, и обе в смущении обратились к Сенчихину:

Аня. Извините, мы на минутку...

Зина. У нас просьба к вам...

Сенчихин. Слушаю, говорите.

Аня. Можно нам подежурить у постели... возле больного? У нас время свободное...

Сенчихин. Пожалуйста...

Девушки признательно улыбнулись ему и тут же бросились в общежитие для приезжих, а между Сенчихиным и Рудаковым затем произошел следующий диалог:

Рудаков. Вы разрешили им у Мостового сидеть?

Сенчихин. Да. А что вас беспокоит?

Рудаков. Будут разговоры...

Сенчихин. Н-ну! Какое значение могут иметь разговоры, друг мой?

Не требует, надеюсь, разъяснений, каким тоном были произнесены последние слова; скажем только, что Сенчихин при этом так усмехнулся, что у Рудакова прошла дрожь по телу, а потом пришло чувство какого-то неизъяснимого восторга и директор с трудом удержался от крика «ура», хотя, казалось, непосредственного повода к этому не было никакого...

20. ВЕЧЕР ОТКРОВЕНИЙ

Это произошло все в тот же вечер. По особому разрешению Рудакова был открыт клубный зал, и, к великой радости парней и девчат, директор пошел даже на то, на что никогда не шел: он дал для танцев свой магнитофон, так что в этот вечер можно было «погоцать» уже не под гармошку и бубен, а под современное музыкальное устройство, заключавшее в себе самые модные танцы и песенки.

И если вы подумаете, что в то время как в клубе «гоцали», легшие спать пожилые люди ворчали и ругались, то ошибаетесь: кто хотел — спал, кто хотел — стоял у стен клубного зала и глядел, как молодые танцуют. И пусть ни у кого не останется сомнений также и в том, что, разумеется, Рудаков не дал бы магнитофона и не позволил бы открыть двери клуба,

если бы не разрешение Мостового, — тот сам потребовал, чтоб молодежи стройки дали повеселиться, заверив Рудакова при этом, что ему, Мостовому, музыка и танцы нисколько не помешают, наоборот, ему даже будет веселее лежать в постели.

Вот из дверей клуба в ночную тишь и глушь вышли Ларионов и Титова.

Они потанцевали, да, да, не удивляйтесь, хорошо вдвоем потанцевали. Так хорошо, что на них даже любовались, да еще восхитил всех наряд Титовой. В этот раз на ней было отлично сшитое платье из темного шелка с серебристой искрой, и не было в этом платье и тени нескромности, все его линии отличала сама строгость и простота. И точно так же строга и приятна была прическа Титовой, никаких выкрутасов, спереди челка, сзади узел — и все.

Разгоряченная после танцев, Титова выглядела сейчас просто очаровательно; ее лицо раскраснелось, глаза блестели и искрились манящими огоньками, она излучала из себя жар и запах тончайших духов. Что же касается Ларионова, то он, очутившись после клубной духоты на свежем воздухе, прежде всего с наслаждением сделал два-три глубоких вздоха, крякнул, сказал:

— Вот хорошо!..

Потом закурил и принялся глядеть на звезды, к которым тянулся ароматный дымок его папироски.

— Ты заметил, Аркадий? — сказала Титова. — Ты заметил? Я все время тебя избегала.

— Не замечал, — усмехнулся он, не спуская глаз с Большой Медведицы.

— Не груби, — ласково сказала Титова. — Сего-

дня днем и вчера весь вечер даже не подходила к тебе.

— В чем же дело? — Он качнулся на носках.

— Не груби, я сказала... У нас с тобой давно все кончено, и поверь — я объективна, совершенно объективна... Скажи, ты с девушками говорил?

— Это не твое дело!

— Тогда знай: они в претензии. — И вдруг Титова жестом предложила Ларионову взять ее под руку. — Пойдем еще потанцуем. Ты отличный партнер.

— Оставь! — сказал он, присаживаясь у стола и все глядя вверх. — Мы давно не сокурсники, Ирина!

— С тобой уже не поиграешь, я понимаю... Как это у Крылова: «Помертвело чисто поле, нет уж дней тех прежних боле, как под каждым ей кустом был готов и стол, и дом...» Ну, что тебе сказать?..

Она присела рядом у стола и услыхала тихий, доброжелательный, хоть и слегка надтреснутый, голос:

— Ирина Романовна, умница, ну почувствуй же ты, милая, серьезность этой минуты! Что-то изменилось в душе у человека, что рядом с тобой. Он будто новыми глазами начинает смотреть на Аню и ее подругу, хотя те ему еще ни слова не сказали. Была неприязнь, да, а смотри! Уже другое пришло... Это бывает, когда человек вдруг замечает в других нечто такое, что находит отзвук в его собственных мыслях, то, к чему сам на ощупь приходишь. Пойми ты!..

Так говорил Титовой наш добрый старый стол, и она все это молча выслушала, устремив глаза вдаль, и красивы были сейчас ее глаза так, как, наверное, давно не были. Эта блестящая влага, это выражение

самой искренней взволнованности! Жаль, никто этого не замечал. Ее собеседник по-прежнему не спускал глаз с звездной красоты неба.

Титова отчего-то вздрогнула и сказала со вздохом:

— Вспоминаю, какие мы были с тобой в студенческие годы. Боже, какие были смешные, увлеченные, как мечтали, горячились!

— Да, мечтали, горячились. Дальше?

Титова без всякого перехода снова заговорила об Ане и Зине:

— А почему тебе с ними не объясниться?

— Что ты за них хлопочешь? Что тебе?

— Нет, постой! Постой, дружок! — повторила Титова, и в ее голосе уже почувствовались твердые нотки. — Ты в прошлом году летом приезжал сюда в командировку в порядке надзора за своим проектом. Ну, смотрел, что и как делается, и остался недоволен, конечно, это ясно. В проекте, в мечте, всегда прекраснее, чем в действительности. Ну, и, понятно, захотелось излить кому-нибудь душу, свое настроение. И ты это сделал. . . Постой! Случайной девушке ты. . .

Не дав Титовой договорить, Ларионов резко перебил:

— Слушай-ка, перемени тему! Прошу же, ну!

— Нет, дорогой, я не переменю тему, — возразила Титова горячо. — Ты тоже не крути, пожалуйста, не уходи от того, что мучает. Почему случайной девушке ты мог все высказать, а мне не можешь? Я ведь тоже. . . этим живу! Мы все. . . Все же этого хотим! . . Чтобы прекрасное внедрялось! Ведь честность, твердость, красота желаний и глубина мысли только тогда хороши, когда они и все другие наши

человеческие достоинства приносят что-то реальное! .. О, как я это понимаю, как хорошо понимаю!

Наверное, она тронула Ларионова этим тоном, что-то отозвалось в его душе, и он уже без усмешки проговорил:

— Вот ты сказала: честность, твердость, красота желаний и глубина мысли только тогда хороши, когда они приносят пользу, могут быть измерены чем-то реальным... Да, так она говорила, Аня. Это ее слова...

— Это мои слова! — запротестовала Титова. — Мои!

— А вообще я их где-то читал, — снова нахохлился Ларионов. — Ничего нового... Если угодно, почти азбучная истина.

— У тебя сейчас нет того настроения, Аркадий. Жаль! ..

Эти слова почему-то больше всего задели Ларионова.

— Оно у меня всегда есть! Всегда, если хочешь знать! Когда работаю, ем, танцую, сижу на совещании или в театре! Человек всегда хочет прекрасного, иначе он не человек, а недоросль, скотина! ..

Он почти кричал, Ларионов, и — поди пойми женщину! — этот его запальчивый крик принес Титовой большое удовлетворение; она любила, когда мужчины при ней горячатся и теряют голову, и особенно ей — еще с давних пор — нравилось, когда горячился и терял голову Ларионов. И, чтобы показать ему свое прежнее расположение, Титова зашла сзади, обвила руками его шею и проговорила проникновенно, завлекательно, нежно:

— Эх, Лариосик! Мы с тобой, на беду нашу, в шуме живем, вечно в суете, в спешке. Иногда так хочется все, все отбросить и начать все сначала... Увидеть как бы новыми глазами себя, людей, жизнь...

У Ларионова вырвалось:

— Не трави ты мне душу, Ирина!..

Мы еще только у начала вечера откровений, многое еще сегодня раскроется, и, мне кажется, не стоит особенно задерживаться на разговоре Ларионова и Титовой, меньше всего можно ожидать откровений от них, и, как ни странно, это именно так, и потому так, видимо, что каждый из них чувствовал — серьезного разговора все равно не будет, это исключено. Даже если бы они и пожелали — не будет, а будет одно взаимное мучение. Ни он, ни она не смогут до конца открыто высказать все, да и сама Титова не пошла бы на это, а ему, Ларионову, это было, как говорят, ни к чему.

В самом деле, было бы в высшей степени неразумным выкладывать все, что думаешь, женщине, с которой у тебя когда-то что-то было и с которой ты сейчас это «что-то» старое не хотел бы возобновлять. И недаром одним из любимых изречений Ларионова были следующие слова Гюго: «Когда ваши волосы поседели, не вспоминайте более ни тех мнений, которые вы некогда отстаивали, ни тех женщин, которых любили в молодости». И, хотя волосы нашего героя еще даже не начинали седеть, он старался, как видим, вести себя именно так, по крайней мере — по отношению к Титовой.

Поэтому не должно удивлять, что их разговор был

насквозь пронизан недомолвками, неясностями, имеющими своей причиной уже известные нам побудительные мотивы, которые, возможно даже, были понятны обеим сторонам, — ведь оба не принадлежали к простакам, ни он, ни она.

Но вот какая штука бывает, когда два молодых человека, мужчина и женщина, у которых в прошлом что-то было, ведут между собой звездным вечером интимный разговор наедине и при этом многого не договаривают: независимо от содержания разговора, постороннему может показаться бог весть что; эти недомолвки, эти переходы от раздумчивого тона к запальчивости и, наконец, этот крик: «Не трави ты мне душу, Ирина!» — все вместе могло бы, говорю я, бесспорно, навести постороннего на размышления, если бы, конечно, он этот разговор подслушал.

Увы, так и произошло, — мы обязались говорить правду и не скроем: стоя у раскрытого окна в коридоре общежития для приезжих, Аня, сама оставаясь незамеченной, слышала все.

Прежде чем рассказать, как она восприняла услышанное, сделаем ей в оправдание необходимую оговорку: свидетелем описанной сцены Аня стала случайно и невольно.

Бывают же такие совпадения: в момент, когда Ларионов и Титова вышли из клуба, Аню, проведшую вместе с Зиной весь этот вечер у постели Мостового, потянуло в коридор, чтобы, наверное, просто постоять в темноте у окна и подумать, а может, звездами полюбоваться, не знаю, в этот вечер с ней вообще творилось что-то непонятное.



И особенно чувствовалось, что ей не по себе, в те минуты, когда из клуба накатывались, точно порывы шквала, звуки джазового фортиссимо и шарканье ног по деревянному полу, специально отмытому перед вечером тетей Аришей с помощью Машеньки. И вот именно в такую минуту, когда там, в клубе, волнующе прозвучала магнитофонная запись блюза «Сан-Луи», слышанного Аней в прошлом году в ресторане на станции, именно в эту минуту, говорю я, Аня и вышла в коридор, а Зина, увлеченная беседой с Мостовым, осталась у его постели.

И в то время, когда она, Зина, продолжала эту свою беседу с высоким начальником, Аня все стояла у окна в коридоре, и видела маячащие недалеко у стола две фигуры, и слышала их разговор, и трудно предположить, что все услышанное и увиденное Аня восприняла как должно, — ведь она многого не знала, бедняжка, и, надо признать, страдала, молча, тихо страдала, а отойти от окна было выше ее сил.

И тут на помощь ей пришли выскочившие из клуба Машенька и один какой-то ее кавалер, из парней, с которым та днем переговаривалась через окно своей кухни. Оба они не просто выскочили, а, кружась в танце, выплыли из клуба, словно в упоении ослепли и не заметили, что за дверью уже не клубный зал, а большой ночной мир. И когда Ларионов и Титова увидели их, то сразу прекратили разговор и вернулись в зал, а у Ани закружилась голова и все поплыло перед глазами.

И тут нам пора перейти к тому, что происходило в это время у постели Мостового, и заодно уж описать, какой вид имело общежитие для приезжих. Это

не займет много места, потому что тут и описывать, собственно, нечего. Восемь коек, заправленных толстейшими шерстяными одеялами, совершенно ненужными сейчас, в разгар жаркого лета. Восемь ночных тумбочек. Один архисовременный пластмассовый стол с непонятной конструкцией из стальных труб вместо ножек. На столе рыжий графин с водой и какие-то брошюрки, никем никогда не читанные и постаревшие сами по себе. На стенах пейзажи, собственноручно нарисованные в долгие зимние вечера отцом Ани, бухгалтером Климушкиным, жившим тут же, но сейчас, ввиду приезда начальства, на время переехавшим в один из финских домиков, где жила семья Кузина.

Не скажешь, что в таком переселении была особая нужда: по существу, кроме Мостового, тут не ночевал никто, и семь из восьми коек пустовали, так как Сенчихин устроился в доме у директора, где ему готовили особое питание ввиду болезненного состояния его, Сенчихина, желудка. Еще тут полагалась одна койка Агееву, но тот пропадал с вечера до утра где-то на рыбной ловле, а прибывший только сегодня дядя Филипп собирался вообще заночевать в гараже, так как у него в последнее время очень болела одна из его старых ран и он мазался на ночь мазью Вишневского, а человеку, который мажется этой мазью, лучше не ночевать в помещении, где находятся другие люди, тем более — высокие начальники, да и одеял этих и постельного белья жаль: вдруг испачкаешь, а одеяла в общежитии, как мы уже сказали, были дорогие, а простыни все льняные, из лучшего полотна.

Так что Мостовому тут было просторно, и другой

бы радовался, а он скучал. И, когда к нему пришли девушки, сами изъявившие желание поухаживать за ним, он с радостью согласился и повел с ними, особенно с Зиной, оживленный разговор, все выспросил у них — кто они, что они, где живут и кем работают.

Ну, разумеется, пошли шутки-прибаутки, а Мостовой это любил, и хотя девушки сказали, что лучше бы ему вести разговор лежа, он все-таки вел его сидя и имел совсем домашний вид в привезенной с собой полосатой пижаме. И тщетно было доказывать ему, что покой — первейшая необходимость для человека, перенесшего утром сердечный приступ. Он на все махал рукой и клялся, что чувствует себя уже почти совсем здоровым. И лицо у него сейчас было в самом деле живое, веселое и крепкое, и если бы не седые волосы, еще, правда, хорошо сохранившиеся, этому человеку можно бы дать куда меньше лет, чем ему было на самом деле.

И вот, не признавая себя больным, он отказывался наотрез от лекарств, стоявших около на тумбочке, и, чтобы не курить, сосал леденцы из красивой коробки, какую Аня и Зина никогда не видывали.

Но еще больше восхищались они массивной коробкой шоколадных конфет, которую Мостовой прихватил, казалось, специально для них, для Ани и Зины. Эти конфеты он сам не ел, а только усердно угощал ими девушек. Ужасно смущаясь и краснея, девушки в один голос принимались уверять Мостового, что вовсе не ради конфет они сюда, к нему, пришли, им просто неудобно, честное слово, ну не стоит, право же не стоит, спасибо! В таком духе говорили девушки.

Но разве устоишь, когда тебя чуть не силой заставляют! Да и, правду сказать, любопытство разбирало: что это за конфеты в невиданно ярких золотящихся обертках? Приходилось брать и пробовать. А когда Мостовой снова протягивал коробку и повелительно говорил: «Берите еще, ну!» — брали опять и ели, и, признаться, так себе были конфеты, не наши, а какие-то привозные, и, ей же богу, наша «Красная Москва» и даже «Кара-Кум» им не уступали.

Но дело, в конце концов, не в конфетах, а в другом: разговор мало-помалу стал интересным, и, не знаю, как лучше сказать — благодаря или по вине Зины, резковатой по натуре, минутами разговор становился даже острым, и хотя Аня урезонивала подругу, не давая ей разойтись, та не раз бросала в лицо Мостовому хоть и шутливо, но с боевым запалом:

— Вы же не знаете нашей жизни! Совсем не знаете, как мы живем! Ничего не знаете! . .

За время, пока Аня стояла в коридоре, Зина еще раза два-три выкрикивала со страстью эти слова, и каждый раз Мостовой, нисколько не обижаясь, говорил ей:

— Ну, хорошо, допустим, возможно, давай тогда рассказывай, и я буду знать! . .

А в момент, когда Аня вернулась и присела на табуретку в сторонке, как бы опасаясь, что Мостовой снова протянет ей коробку с конфетами, Зина с бледным, без кровинки, лицом, но совсем не зло, наоборот, с волнением растроганного человека говорила ему:

— Вот я вам все и рассказала. На все ваши во-

просы ответила. Знаете, как некоторые женщины иногда говорят... мужчинам? Вот я вам все о себе рассказала, и теперь вы можете меня презирать.

— Деточка! Девушка милая! — волновался Мостовой. — Так вам не надо говорить! — Он потянул к себе шершавую руку Зины, задержал в своей тоже когда-то шершавой руке. — Но я понял, понял, это все шутка! Ну и ладно, не будем...

21. ВЕЧЕР ОТКРОВЕНИЙ (продолжение)

Обратимся к уже испытанному приему драматического диалога и послушаем, как дальше шел разговор между Мостовым и девушками.

Зина. Не знаю, почему я так разоткровенничалась с вами.

Мостовой. Ну, с виду я дядя добродушный, седой. Таким и рассказывают. Мне еще в школе девчата доверяли свои секреты.

Зина. Но мы-то не девочки, и тут совсем другое.

Мостовой. Тут жизнь, тут серьезное, я понимаю. (Он все не выпускал руку Зины, гладил ее.) Что это играют?

Зина. Твист «Эгейн».

Мостовой. Ну вот, видишь. Мне такая мысль приходит: в ломке в этой, которая уже давно идет, все в кучу смешалось — хорошее и дурное. Вот ты в цехе работаешь, как ты сказала. Небось там всякое видишь?

Зина. Да...

Мостовой. И сама бываешь разная. Вот и

я тоже. Это только вид у меня такой. . . добродушный. И вот что я тебе скажу: объективно мы — я, ты, Ларионов, твоя Аня, эта Титова, директор здешний Рудаков и так далее — все мы объективно на уровне своего времени, своей эпохи, скажем. А субъективно возьми лично каждого — часто ниже ее. Отсюда, как говорится, и все качества. . .

Зина. Я не поняла. . .

Честная девушка эта Зина, честная и прямая, — Мостовой мог в этом вполне убедиться за время разговора с нею. Эта не скрывала того, что думала, и резала правду-матку в глаза. И словно даже нарочно разговаривала с Мостовым, хорошо, конечно, зная, кто он, подчеркнуто задиристым тоном. И, хотя, как тоже мог убедиться Мостовой, Аня, пожалуй, не уступит подруге в честности и прямоте, Зина все же чем-то больше привлекала к себе внимание Мостового, и, я думаю, это происходило по ряду причин, в которых сам Мостовой, может быть, не отдавал себе ясного отчета. А нам с вами это надо знать.

И вот, говоря об этих причинах, то есть о том, что же побуждало Мостового больше выделять Зину, а не Аню, хотя и эта ему нравилась, мы должны предположить, что, пожалуй, именно склонность Зины к грубовато-задиристому тону, ее простецкая прямота больше устраивали Мостового, чем деликатная, более интеллигентная, что ли, манера поведения Ани и ее сдержанно-вдумчивый тон разговора.

И тут, наверное, давало себя знать вот что: человек, занимающий должность, — а в данном случае это важно, — всегда предпочтет иметь дело с чем-то более простым, чем со сложным. Запутаешься только

с этим сложным, как, например, было в разговоре Мостового с Ларионовым сегодня утром и как не раз бывало при встречах с ним в прошлом. Вместо делового контакта, необходимого для устранения, скажем, какого-то обычного недостатка или упущения, получаются рассуждения о бог весть каких неуправляемых явлениях, и, откровенно говоря, меньше всего Мостовому хотелось в этот вечер повторения подобных разговоров: от них только голова болит да сердце перестает работать, что и подтвердилось утром.

Мне кажется, тут мы ближе всего к истине, то есть к объяснению того, почему Мостовой предпочитал, если можно так выразиться, больше контактироваться с Зиной, чем с Аней. Как мы уже видели, это вполне удалось, особенно еще благодаря самой Ане, которая простояла в коридоре довольно долго и таким образом, к полному удовлетворению Мостового, у него было достаточно времени, чтобы установить этот контакт и узнать все, что его интересовало. И это понятно — даже в больном состоянии член коллегии министерства остается членом коллегии и не должен забывать о деле, и если он прибыл на стройку, откуда пришел сигнал, и в общем-то известно, кто этот сигнал подавал, хотя в пересланном в министерство письме не было подписей, все равно, независимо от этого следует быть предельно чутким к любым лицам, с которыми встречаешься на стройке, а тем более — к тем, о которых точно известно, что именно они и есть авторы упомянутого сигнала. Да если бы у Мостового и оставались еще какие-то сомнения, то Зина их рассеяла, когда — это было в отсутствие Ани — на какой-то вопрос Мостового напрямик ответила:

— Ну, мы писали, если хотите знать. Но вам-то не все ли равно, кто писал? Суть-то всем ясна, видна? Или нет?

— Пробуем разобраться...

— Ах, еще только пробуете?

— Поищем причины, отчего так полу...

— Ничего вы не станете искать! — махнула рукой Зина. — Три к носу...

— Чего? — не расслышал Мостовой.

— А ничего, — ответила Зина, опуская с усмешкой грешницы глаза долу.

Он и не подозревал, старый ответственный товарищ, как много уже о нем знают и Зина и Аня, и вас это, наверное, тоже удивит, но все тут объясняется просто: ведь Аня, Зина и Титова спали в одной палатке, а когда три женщины спят в одной палатке, они очень скоро узнают друг о друге все, что им нужно; за стеной палатки степь и ночь и вой собак, и сон долго не идет в глаза, и что тут делать, если не разговаривать. Ну и не удивляйтесь, что и девушки кое-что рассказали Титовой, а она — им, и таким образом Аня и Зина получили не только, правду сказать, мало интересовавшие их сведения о министерской деятельности Мостового, да заодно и Сенчихина тоже, но и о личном в жизни Мостового, — например, о его племяннице, которую оставил Ларионов, о том, что старику больно за нее, оказалась дура дурой.

Действительно, эта ее манера доносить дяде на собственного мужа, — черт знает что, сам Мостовой находил эту манеру отвратительной, но и дуру-то ведь жалко, если она близкий тебе родич, черт бы ее взял!

К этому надо добавить, что Зина не постеснялась спросить — это тоже было в отсутствие Ани — воевал ли Мостовой в те годы, когда все воевали, и есть ли у него ордена и какие? Вот у нее, у Зины, отец тоже пал на фронте, и она, тогда еще двухлетняя девочка, так больше и не видела его; и еще интересовало Зину: успел ли Мостовой до революции побывать на сибирской каторге? И на все свои вопросы Зина получила вполне удовлетворительные ответы, а именно: на фронтах 1941—1945 гг. Мостовой побывал и орденов да медалей имеет на целые три планки, а что касается сибирской каторги, то, черт возьми, неужели он так старо выглядит, ведь ему еще нет и шестидесяти, а когда грянула революция, у него еще и усы не начинали пробиваться, вот в чем дело, голубушка, к старым революционерам он, Мостовой, не может себя причислять, то другое поколение, и не надо путать.

Все это Мостовой толково объяснил Зине и, в свою очередь, задал немало вопросов ей, причем касался и Ани, и все шуточкой, без назойливости, а так, хочешь — отвечай, не хочешь — не говори, в душу к тебе не лезут, милая, что и как отвечать, дело твое, говорило выражение лица Мостового. Но Зина тоже была далеко не из простаков и раза два уличила его в хитрости и даже грозила ему пальцем, говоря:

— Слушайте, вы это бросьте! Мы знаем, что вам нужно!

Ох, эта Зина, — представьте, попала в самую точку, и верно же: Мостовой в общем действительно получил в этот вечер то, что ему было нужно, то есть

получил более или менее ясное представление о том, с кем имеет дело в лице этих девушек не только сам он, Мостовой, а куда важнее — коллегия министерства, куда поступил сигнал из Барыбы. И, по всей вероятности, так бы этот разговор без особых сложностей и кончился, если бы Мостовой, услышав, как в клубе забацали какой-то новый мотив, вдруг не воскликнул:

— А это я знаю! Это песенка Трошина! Хорошо поет, черт!

Тут Аня, сидевшая до сих под молча, резко вскочила. Ну что ему до тех песенок и танцев, скажите, пожалуйста? Аня даже потемнела от возмущения и затем, уже переставая быть похожей на себя, не своим голосом, а скорее задиристым тоном Зины спросила у Мостового:

— А не о песенках Трошина вы могли бы с нами поговорить? Или больше не о чем?

Видите, какие девчата попались, у Мостового уже мелькнула мысль: э, с ними держи ухо востро! Вот Мостовой и был настороже, а тут он подумал, что лучше всего с такими вести себя честно, то есть в той мере, в какой это возможно, все говорить откровенно, и он с решительным видом обратился к Ане:

— Идите сюда... Хотите серьезного разговора? Пожалуйста. Один вопрос я вам задам...

— Мне вы сто вопросов задали, — буркнула Зина.

— Сто не сто, — усмехнулся Мостовой и продолжал: — Вот что я хотел бы понять. В кино и в театрах да и в книжках вы, должно, встречались прежде

с таким: девушка-доярка или агроном всё переворачивает. Она против всех, и все она знает, а они, дураки, не знают. Сейчас это ушло, уходит. Не только из книжек и картин — из самой жизни. Правда, в жизни-то было не так, было другое: наедут со стороны, учат, указывают, вмешиваются в то, чего не понимают. А пользы было мало, потому что навстречу этому не шла сама жизнь.

Аня стала неузнаваема, она наступательно бросила Мостовому:

— К нам это не относится!

— Не спорю, — согласился он. — Вот я и хочу вас понять...

Аня насмешливо повела плечом.

— Вы знаете о нас, я вижу, далеко не всё.

— Вполне естественно, — миролюбиво сказал он.

У подруг, наверное, бывает, что при некоторых обстоятельствах они как бы меняются характерами, и, наверное, нечто подобное с ними и случилось, и было просто странно наблюдать сейчас их поведение. Аня вся горела, глаза ее сверкали решимостью готового идти на все человека, и даже удаль какая-то выражалась в ее лице. И, словно бы опасаясь за нее, Зина, сейчас настороженная и до удивления сдержанная, поспешила сказать:

— Не будем забираться далеко, Аня! Видите ли, — обратилась Зина к Мостовому, — Аня зимой переписывалась с отцом и уже знала, что тут делается... А как приехали мы сюда и увидели все, то решили: пускай что хотят о нас думают, а мы напишем. Сами рабочие нам все объяснили и помогли. Это же безоб-

разие: за год даже не все дамбы нарыли — и все плохо, всё идет через пень-колоду, а от вас, сверху, никакого внимания. Я же техник, я сразу разобралась, что тут за картина!

— Сразу? — как бы удивился Мостовой. — Похвально, весьма и весьма.

Аня сделала несколько шагов вперед, и Зина с беспокойством следила за тем, как ее подруга вплотную остановилась перед Мостовым.

— Одобряете нас, я вижу? .. А в душе, я уверена, у вас другое: «Что этим дурочкам надо? Что им Барыба? ..»

— Аня, Аня! — одернула ее Зина. — Ну зачем?

Но Аню уже трудно было удержать, слишком накипело у нее на душе, и она бросала в лицо Мостовому, чуть не крича:

— А что человек, и тем более женщина хотела бы за прекрасное постоять, за лучшие мечты свои постоять, — это вы могли бы себе представить? Против пошлости воевать — это вы допускаете? Пошлость — это же страшнее всего! ..

Она не все выговорила, Аня, у нее дрогнул и осекся голос, она словно захлебнулась в горячем потоке слов, а может, это было не от слов, а от слез, переполнивших ее удивительно добрые глаза, и, не в силах больше ничего сказать, Аня выбежала опять в коридор, а Зина со страдальческим лицом, снова казавшимся до предела бледным и бескровным, проговорила тихо, не глядя на Мостового:

— Извините нас. . .

Не выдержал этой сцены и Мостовой, ведь и у него сердце было не камень.

— Вот, вот! — вскричал он, соскакивая с постели и принимаясь торопливо надевать добротные кожаные тапки, какие можно купить только на Кавказе у частных чувячников. — Вот что и меня с ума сводит! Вот из-за чего я в трудные минуты чуть не руки на себя наложить готов! Но, черт возьми, кто же против прекрасного, скажите мне на милость! Я, что ли? Да я не меньше вашего болею за это! Вам пошлость противна, а мне что? Нет? У меня она поперек горла стоит! В печенках сидит! И ежели вы мне бросали, что я ничего не знаю, так позвольте и вам, дети мои, то же самое обратно бросить!..

Он так разволновался, что Зина только одно твердила ему настойчиво и умоляюще:

— Зачем встали? Лягте! Нельзя же вам!..

А Мостовой, не затихая, продолжал:

— Так поймите же, милые мои, дело зависит совсем не только от тех, кто издает законы! Вся штука в том, как они исполняются! Вы кричите — начальство, начальство, то да сё, ругаете нас, требуете: больше бы вникали... Вникаем! Идем навстречу! Ведь мы тоже мечтаем, у нас своя мерка, и тоже большая! Но как доходит до исполнения, начинается какой-то неудержимый поток рутины! Все же мы хотим хорошего, все! Эта стройка для нас, конечно, не бог весть какая по масштабу, но все равно ведь и ее мы задумывали широко! Лучших профессоров и специалистов приглашали на консультации в министерство, ставили все на современную ногу, с размахом, с учетом лучших инженерных достижений в этой области! Больше пяти миллионов рублей отвалили по смете, не пожалели! Чтоб люди потом любовались!

Ларионову почему поручили проект? Потому, что человек толковый, ищущий! Он и пришел к нам с идеей — давайте Барыбу, эту голую степь, превратим в цветущий оазис! А сейчас он мне про неуправляемые явления толкует!..

Сгоряча, не думая, Мостовой схватил из коробки конфету и сунул в рот; он, правда, сразу же протянул коробку и Зине, но та не взяла, и насмешливые искорки блеснули в ее глазах; тут из клуба опять вынесся нарастающий джазовый шквал, и, все еще жуя свою конфету, Мостовой спросил у Зины, опять, к сожалению, не подумав, но что делать человеку, которому, вопреки пожилым годам, и чину, и прошлому воспитанию, положительно нравятся эти грешные песенки и танцы, ну, нравятся — и все, уж ничего не поделаешь:

— А это что заиграли?

— «Летка Енка», если вас интересует.

— Здорово бацают, черти, — весело произнес Мостовой. — А ну-ка, я сейчас оденусь, тоже выйду пройдусь. Ведь вон вечер какой замечательный!.. Эх, девушки, девушки! Это действительно ужасная вещь — пошлость, обывательщина. Самое святое заплюют, испохабят. В планах — одно, в жизни — другое... Но мы же с этим боремся!..

— Так почему же это все есть?

— Вечный вопрос, детка, вечный вопрос, — ответил Мостовой на негромкий вопрос Зины, и вдруг как бы помимо своей воли он затряс руками и закричал яростно: — Но надо же одолевать то, что мешает, хоть вверх ногами перевернись!..

Мы много потеряем и не поймем, если не послушаем разговора Ани и Зины, произошедшего тем же вечером на берегу водохранилища.

И, пожалуйста, уж представьте себе сами безлюдную, глухую тишину того уголка берега, куда девушки наши так храбро забрались — и темень, и плеск волн, и далекий вой собак, и редкие огоньки в поселке, и незатихающие звуки музыки в клубе, где молодежь стройки расплясалась так, что, казалось, ее и через трое суток не остановишь. И лишь одна претензия предъявлялась ей, молодежи, присутствовавшим тут Рудаковым: время от времени, стоя у стены в толпе глядящих на танцы, директор властно хлопал в ладошки и требовательно восклицал, обращаясь к той или иной паре:

— Не стилять!..

А нарушение тут усматривалось вот в чем: танцующая пара застывала на месте и лишь чуть-чуть передвигала ноги, и могло показаться, что он, хлопец этот, хранящий какой-то, я бы сказал, сомнамбулический вид, и его юная партнерша с наиярчайше накрашенными губами, тоже погруженная в некий меланхолический транс, просто заснули.

Именно это особое состояние во время танца, эти расслабленные движения парочки, совершенно выпадающие из ритма музыки, и считались директором «стилянием», что было, впрочем, хорошо известно здешним парням и девчатам, и все знали: если танцы состоятся в клубе, то директор непременно будет стоять здесь на страже и обращать к непослушным

свое знаменитое: «Не стилять!» — за что Рудакова, будь он простым культурником, давно избили бы в темном углу: да ведь сам директор, его не побьешь, чудака этого. Думает, раз он директор, то имеет право одни танцы разрешать, а другие нет...

Ну да ладно, бог с ним, где же наши девушки? Поспешим скорее в темень и тишь пахнущего тиной берега. Э, да вон они, голубушки, забрались в утлую лодчонку, рядышком уселись там на корме и, обнявшись, смотрят на то, как из-за черного горизонта вышел серебристый краешек месяца.

И если кому-нибудь показалось бы, что девушки уже успокоились и пришли сюда просто полюбоваться природой, то это было бы ошибкой. Нет, обе еще до крайности возбуждены, но не в крике, не в повышенном даже тоне сказывалось их возбуждение, а в другом: они изливали друг дружке душу, и голоса их были негромки, только дрожь, особенно в голосе Ани, выдавала и боль, и обиду, и все то, что могут переживать девушки их возраста, когда видят безобразия и несправедливости и, хоть не могут примириться с этим, все же кое-что уже понимают в жизни.

— Я слышала все их объяснение возле дверей клуба, — рассказывала подружке Аня. — Ну, скажи: а почему мы с ним не объяснились? Другие могут, а почему мы нет? Какие-то мы с тобой, в самом деле! Приехали, переживаем, а ни с кем не говорим, даже сами с собой не откровенничаем.

— С Мостовым поговорили...

— Я с отчаяния, кажется, хватила... А, Зина?

— Нет... Он все-таки умный... Понял...

— Поплакать мне надо, пореветь. Но я объяснюсь,

объяснюсь тоже, погоди! А может, это лучше сделать тебе? Я не смогу, наверное. А что ты, что я — все равно...

Не уверен, было ли это на самом деле, но Ане вдруг отчетливо послышался отдаленный голос, шедший оттуда, где стояла контора, голос старого ветерана стола, и сказал он девушке примерно вот что:

— Э, нет, Анечка, с Ларионовым с этим уж придется поговорить тебе самой. Подумай, был у вас в прошлом году ресторан, были потом зимой переживания, была у тебя драка с казенщиной в школе, было это самое письмо в редакцию. А сейчас что ты делаешь? Помогаешь отцу составлять полугодовой отчет? Ну, еще вы с Зиной решили поучиться у тети Ариши вязать. Мало, мало!.. Не отстраняйся, голубка, стой до конца!..

И будто в ответ на этот голос Аня задумчиво проговорила:

— Ну, в крайнем случае поговорю с ним сама...

— Конечно, лучше будет, — отозвалась Зина. — Вам надо поговорить.

— Но ты посмотри, посмотри, его даже не терзают нисколько! — воскликнула Аня как бы даже с сожалением, словно если бы Ларионова терзали, это устраивало бы ее больше. — Что ему? Ничего! Как с гуся вода. Ходит по дамбам, берет пробы грунта, одна техническая кутерьма, как папа говорит! А сколько я пережила в прошлый и этот год! Что со мной творилось в школе! Ты говоришь, я эту зиму с ума сходила. Это еще не то слово! Бешенствовала! Со всеми переругалась! До роно дошло! Меня перестали звать на педсоветы, травили! Директорша меня

видеть не может! А ему, смотри, хоть бы хны! Ходит себе по дамбам, по ночам в преферанс играет, с этой Титовой мило объясняется, с удовольствием танцует. Почему же мы, мы почему так много на себя берем? Почему мы так сильно переживаем все? Послушай, я сейчас, кажется, все-таки заплачу и раскрою тебе один секрет. Хочешь?

Зина уставилась на подругу:

— У тебя есть от меня секреты?

— Есть один, — чистосердечно ответила Аня и прижалась теснее к Зине, и та почувствовала: все дрожит сейчас внутри Ани, лучше бы помолчала, не волновала себя еще больше тем, что собиралась сейчас рассказать; но любопытство вещь такая могучая, что Зина не утерпела и даже поторопила Аню:

— Ну, что ж ты замолчала?

И тогда Аня, начиная дрожать еще сильнее и временами стараясь преодолеть схватывавшие горло спазмы, начала:

— После этой зимы, когда в школе у меня однажды все дошло до крайности, когда за правду директорша назвала меня демагогом при всех, я совершила одну страшную глупость. Начиналась весна, но еще дули такие студеные ветры, такие студеные... Ты слушаешь?

— Ну, слушаю, говори.

Аня вдруг заметила какие-то тени вдали, и так как зрение у нее было хуже, чем у Зины, то спросила у подруги:

— Кто там ходит? Посмотри. Вот там, у дамбы!..

А у Зины и в самом деле было прямо-таки кошачье зрение, она всмотрелась в те тени и сказала:

— Это Мостовой вышел прогуляться. С ним... твой папа и... дядя Филипп. Ну, что же было с тобой, когда еще дули студеные ветры? Это тоже стихи?

— Нет, это другое, — ответила Аня, дрожа уже не так сильно. — Было такое, что я тебе и передать не могу. Однажды вечером я пришла из школы, села и стала думать: ну какая я героиня? Надо жить как все. Взяла и позвонила Сашке моему. И мы с ним встретились.

— И что, если встретились?..

— Просто стыдно было тебе сознаваться. Что я в тот вечер пережила! Лучше я сдохну одна, но больше этого никогда не повторю! Ты знаешь, что Сашка мне сказал?

— Опять свою теорию разводил?

— Нет, сначала стал читать мне стихи, зная, как я их люблю. Он где-то достал новую книжечку стихов Новеллы Матвеевой и прочитал мне то место, которое я тебе потом читала.

— «Сорваться эффектнее, чем устоять», — да?

— Да! И не могу тебе передать, что со мной в тот вечер сделалось! Я смотрела: он, он, Сашка, такие стихи читает! Кто его научил?

— Ты! Как и меня научила.

— Постой, где у меня эти стихи? Книжечку я же привезла с собой... В палатке у нас или у папы в домике? Ну ладно, Зинок, слушай. Я про Сашку кончу. Читал-читал, а потом стал говорить, что курить он бросил, потому что курение приносит вред, что про мои печальные дела в школе он знает и пора было бы мне тоже оставить некоторые мои привычки, потому

что начальство не так гневается на согрешающего, как на критикующего. Потом он сказал, что наше поколение замечательное и только то плохо, что вот у него есть одна новая знакомая, ее отец, старый шахтер, зарабатывает кучу денег, у них пианино, у дочки, у этой его новой знакомой, сколько угодно шляпок, а под шляпкой пусто... Ты слушай, слушай дальше, Зина. Про курение я уже сказала? Он еще говорил про ожирение и геморрой, даже не знаю, в связи с чем. Потом он опять вернулся к стихам, которые прочитал мне, и сказал, что, рассказывая о своих печалях, мы тем самым облегчаем их себе. Так и поэты... Постой! И, ты думаешь, я его в тот вечер выгнала? Ох, я даже сейчас не могу тебе рассказать до конца все... Он заночевал. И знаешь, о чем говорил в постели, после таких стихов, после всего? Что человек употребляет от одного до трех литров пищи в сутки, а воздуха потребляет в двадцать тысяч раз больше и уже одно это показывает, как важно спать при открытой форточке. Потом он говорил о колбасе. Вот когда-то была колбаса! Запах за три квартала от магазина было слышно! А сейчас в колбасе ни запаха, ни вкуса... Я чуть не умерла!..

— Боже мой! — вскричала Зина. — Я бы его убила!..

Аня говорила сейчас легко, без спазм и дрожи:

— В ту ночь и на другой день я все думала: наверное, обычные вещи, самые простые, имеют большую силу, и их надо уважать! Я с тех пор все думаю и думаю и сама с собой борюсь...

Зина вскочила, чуть не опрокинув лодку.

— Обычные вещи?.. Простые вещи?.. Ты что?

— Вот уже кричишь. Вот, вот! Я же знала — ты меня убьешь.

— Никогда бы не поверила! И не поверю! Ты же в каждом принца готова видеть! Идеалистка, а сама себе такое позволила?

— А ты же стояла за то, чтобы я с Сашкой помирилась.

— Я гордилась тобой, если хочешь знать!

Ане опять кто-то померещился вдали.

— Кто там еще ходит, Зина, посмотри! .. Не Сенчихин ли?

— Он, он, — ответила Зина, которой было достаточно лишь мельком бросить взгляд в ту сторону, куда показывала Аня. — Это не Ларионов, успокойся... Сенчихин и Рудаков там ходят... приятели! ..

Тут у Ани вырвался из груди прерывистый звук, какой бывает у детей после плача.

— А он все танцует, — проговорила она. — Да, наверное, на этих простых, обычных вещах земля стоит. Слушай! — вдруг крепко потянула Аня к себе подругу. — Сядь! — И, когда та села, стала выпаливать горячо и торопливо: — А вдруг это в самом деле неизбежно, а? Это несовпадение между поэзией сердца и прозой отношений? Мы же видим это везде вокруг! Есть поэзия мечты и проза действительности, и что уж тут поделаешь? ..

Зина в волнении опять приподнялась.

— Что ты говоришь? Как Титова хочешь?

— А может, надо так? Может, если бы я с ним, как она, стала говорить, он бы меня больше уважал?

Зина схватила лежащие на дне лодки весла и затолкала их в уключины.

— Бери весло и греби! — приказала она Ане. — Бери, говорю, — повторила она резко, но Аня не обиделась, обе уселись на банку посреди лодки и взялись грести, и, когда берег стал уплывать от них, Зина сказала: — Сейчас я тебе тоже открою один свой секрет, так и быть...

Отплыли они недалеко, где-то в двухстах метрах остановились, положили весла, лодку стало тихо качать на волнах, как и звезды и уже взошедшую луну. И, чтобы дальнейшее было понятно, надо кое-что еще сообщить о Зине.

У нее, если это не забылось, муж погиб прошлым летом во время альпинистской экспедиции, а был славный парень, Зина в нем души не чаяла. А за год до катастрофы у них родился ребенок, все было хорошо, муж работал электромонтером в станкостроительном институте и там же учился на вечернем факультете, и какой это был способный, какой дельный парень! Он и машину водить умел, а с какой легкостью он решал кроссворды и всякие головоломки! Ну, правда, пил немного, так это же ничего, Зина умела держать его в руках, а при случае и крепко одернуть, и он слушался ее, как маленький, — вот такой это был парень, и вдруг горестное, страшное известие: слетел в пропасть при покорении труднодоступного пика на Памире. Вот с тех пор все перевернулось в жизни Зины.

Теперь, зная это, послушаем рассказ Зины:

— Эта зима была для меня тоже трудной, ты знаешь. Когда Валерик мой погиб, я еще сразу всего ужаса не почувствовала. Крепилась. А потом.. все как-то сразу навалилось. Всё, всё! Свекровь моя, ты

знаешь, старуха глупая, стала за мной подсматривать. Ты там у себя в школе воевала, и часто тебе не до меня было. На работе тоже что-то не ладилось. И вот раз в воскресенье, когда дули те самые студеные ветры, те самые, которые заставили тебя позвонить Сашке, я сидела у окна и говорила себе: зачем? Кому все это нужно? Что меня ждет? Хорошего ничего нет. Ты своему Сашке позвонила, а я хуже сделала. Взяла и написала записку, что мне все опостылело и я решила покончить с собой... Коротко все так, коротко все изложила на страничке из тетрадки, в конце оговорила, что прошу в моей смерти никого не винить, и стала действовать: уложила дочку спать...

— Ты с ума сошла! — вскрикнула в испуге Аня.

— Но тут ты забежала ко мне, и мы стали жарить картошку, — продолжала Зина. — Ты была очень голодна, ну, и я уж поневоле с тобой поела... Потом ты ушла, а я стала думать над своей запиской. Думала, думала...

— Ты с ума сошла! Зачем это все было?

— Нашло... Бывает... Я убедилась: все бывает!

— И чем все кончилось?

— Жива, как видишь, — усмехнулась Зина. — Тебя интересует, что я с запиской своей сделала? Порвала ее и сожгла в печке... Я себе самой сказала: а с какой стати я должна сдаваться? Я себе сказала: должно же быть прекрасное, раз населения на земле три миллиарда и оно все растет, а самоубийц — несчастные единицы! Не хочу я к ним принадлежать, хочу к трем миллиардам. Утром на свекруху как цык-

нула: «Прочь!» Что, в самом деле! Я поверила, знаешь, поверила в необыкновенное, в то, что... как он тебе говорил?.. «Ты еси»... В цехе даже обратили внимание, что я похорошела. А я — раз! В газету! Опять! И еще! И еще! Про сволочей, про эти самые «обычные» вещи, как ты их назвала, про мусор жизни! Ну, чем кончилось, ты знаешь: меня выбрали редактором нашей цеховой стенгазеты. — И, звонко рассмеявшись, Зина закончила: — Видишь, даже карьеру сделала!

— И какие мы с тобой дурочки! — растроганно проговорила Аня. — Чего-то хотим, а оно — вот. Ну, ты мне отплатила с лихвой! Поделились!

— Огоньки какие чудесные, смотри... Я давно смотрю. Смотрю и все думаю: он же прав! Прекрасное... оно же есть, есть! И знаешь — я только теперь начинаю понимать и тебя, и... его, и это самое «Ты еси», и еще я начинаю понимать, что надо, обязательно надо иногда и с умным человеком поговорить! Тебе повезло...

Все так же тихо колыхались в воде звезды. Аня сидела все так же молча и неподвижно и будто что-то трудное решала в уме.

Аня (задумчиво похлопывает рукой по веслу). Это ты хорошо сказала: надо иногда и с умным человеком поговорить. Уже само по себе это важно... а бывает, что может и от гибели спасти.

Зина. Вот именно! (И вдруг как-то совершенно невпопад, но очень понятно для Ани.) Тем более — у меня же на руках малышка! Тоже ведь «Ты еси», между прочим. Живой человечек все-таки!..

Аня рывком потянулась к подруге, чуть не опроки-

нув лодку, они крепко обнялись и, сидя вот так, голова к голове, все глядели и глядели на степные огоньки.

Бывают — не часто, к сожалению, но бывают — такие тихие, проникновенные вечерние часы перед сном, когда огромное звездное небо над головой словно манит к себе и говорит: не спеши в постель, человек, не торопись растянуться на старом матраце, который так отвратительно скрипит своими пружинами, оставайся лучше один на один с дивным таинством летнего вечера и — не бойся — взлети, возвысся душой, оглянись на все вокруг и подумай: как величествен мир и как много ты бы мог в нем совершить! Ты ведь так талантлив, человек! Ты бог! Твори и создавай прекрасное! Ты ведь для того и рожден, черт побери, а не для того, в конце концов, чтобы прозябать и пить водку!

Вот в такой час встретились на прогулке Мостовой, дядя Филипп и Климушкин, с одной стороны, и Сенчихин с Рудаковым — с другой, и, встретившись, все одной компанией уселись на валявшуюся у одной из дамб большую трубу, по которой со временем будет подаваться вода в будущие пруды, и начался общий разговор о том о сем. Мостовой, например, сказал, что ему очень нравится здесь, в Барыбе, хорошее место, а Сенчихин, поддержав Мостового, заявил, что готов был бы даже переехать сюда на жительство и, честное слово, он уверен, что тогда не знал бы ни катара, ни мозговых явлений, потому что — воздух!..

— В войну здесь, я помню, сильные бои были, — сказал еще Мостовой. — Отсюда к окруженным в котле немцам подкрепления рвались, а дороги им не дали. Хенде хох! Зима тысяча девятьсот сорок второго года, кто ее помнит. Да...

— Я тут как раз и воевал, — произнес дядя Филипп.

— Солдатом?

— Да, простым солдатом, — ответил дядя Филипп. — Минером.

— То-то у вас такой хладнокровный характер, — покрутил головой Сенчихин. — Что там у вас, в областном тресте, как?

— О делах сейчас не будем, не будем, — запротестовал Мостовой. — Давайте споем, а? Что-нибудь хоровое, легкое. Слушай, Евгений Петрович, — обратился он к Сенчихину, — мы же с тобой когда-то комсомольцами были, смешные песни пели, не обязательно, как бы сказать, зовущие к бою или идти смело в ногу. Давай затянем «Отца Серафима», помнишь? А ну-ка, — потребовал от всех Мостовой и первый запел протяжно, на поповский манер: — «Отец Серафим, отец Серафим...» А вы все подхватывайте дружно: «Где ты был? Где ты был?» Тут я: «К заутрене звонят, к заутрене звонят». А вы дружнее: «Бим-бом-бом. Бим-бом-бом!..»

Все запели, поддержали Мостового, и пошло хорошо; те же слова запели опять и опять, Мостовой исполнял соло и дирижировал хором, и все остальные, положив друг другу руки на плечи, раскачивались и пели, и казалось — вся Барыба внимает старой смешной песне.

23. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

Все некогда, все недосуг рассказать о сыроедстве вообще и о том, как пришел к этому Агеев, и, видно, так и не придется уж обо всем этом поговорить подробно, а жаль!

Получилось так, что каким-то образом на стройке узнали про сыроедство Агеева, и особенный интерес к этому проявил Кузин, который все вечера и зори проводил за рыбной ловлей вместе с Агеевым, и тут последнему пришлось, как говорят, раскрыть карты. И, боже мой, чего только не узнал Кузин, а через Кузина и ближайшие его приятели бульдозеристы!

В эти дни, поверьте, куда больше было на стройке разговоров о сыроедстве, нежели о чем-либо другом. Иные приходили в столовую и требовали от Машеньки, чтобы она дала им попробовать сырой мясной фарш; дело дошло до того, что из ресторана при станции Барыба (это было за день до технического совещания), по совету Кузина, наведался к Агееву один из поваров, чтобы подробнее узнать о новых течениях в науке человеческого пропитания, и Агеев охотно поделился тем, что знал. И тогда кое-кто из приятелей Кузина и сам Кузин, исполнявший обязанности председателя постройкома, стали просить Агеева, чтоб он выступил в клубе с лекцией; это как-никак поинтереснее, чем «гоцать» там под гармошку с бубном или даже под магнитофон, как делают здешние хлопцы и девчата. Лучше бы им про новые научные течения знать, чем «стилять» на смех людям и назло директору, который — хочешь не хочешь — обязан следить за соблюдением морали и нравственности

в ходе танцевального вечера, хотя дел у него, понятно, хватает и без этого.

Но Агеев отказался выступать, пока не пройдет техническое совещание, и когда кто-то из рабочих сказал: «Э, да что нам это совещание!» — Агеев возразил: «Ну что вы, дорогой мой, как можно без технического совещания, все дело в нем!» — после чего Агеев привел много доказательств полезности технических совещаний, их роли и значения в улучшении и подтягивании отстающих участков, так что трудно себе даже представить какое-либо движение вперед без всестороннего обсуждения того или иного вопроса на техническом совещании.

Все уладил Кузин, он признал, что доводы Агеева в общем правильны, и никто больше спорить не стал.

— Раз товарищ Агеев сказал так, значит, оно так и есть, — сказал Кузин. — Он знающий человек и думающий, а не какой-нибудь.

Кузин, как говорят, мирволил к Агееву, от которого узнал, помимо сыроедческих идей, и много других вещей, — например, что в русском языке есть слово, где подряд стоят три «е», и слово это легко угадать во фразе: «Верблюд — длинношеее животное». Или, например, такое. «Назовите, — предлагал Агеев, — слово, которое состояло бы из двух букв и было бы именем существительным, при условии, — добавлял Агеев, — сохранения старой русской орфографии». Так как Кузин (все эти загадки и вопросы задавались ему, как вы уже догадываетесь, во время рыбной ловли), так как Кузин, говорю я, и в новой орфографии не очень-то разбирался, а тем более — в старой, то Агеев сам же и открывал ему, что такое

слово есть, а именно «щи», и, услышав это, Кузин от души смеялся и с восхищением говорил:

— От чертяки, и придумают же ж!..

Но особенно понравилась Кузину фраза о семи сумрачных советских служащих, где каждое слово начинается все с той же буквы «с». А были в неистощимом запасе у Агеева еще фразы такого же рода, — например: «Шесть шустрых шакалов шаловливо швырялись широкополыми шляпами», или: «Восемь взлохмаченных воров взламывали ворота восьмиэтажного вертепа», или еще: «Пять пухленьких пигалиц, плотно пообедав, приятно пели». И так далее, и так далее, господи боже мой, каких шуток не знал Агеев!

Он мог с серьезным видом задать вопрос: какое участие принимали железнодорожники в пугачевском восстании? И Кузин опять хохотал, и тут уж не требовалось особых познаний, чтобы угадать, что железных дорог при Пугачеве еще не было. Словом, за рыбной ловлей Агеев и Кузин, как видим, не скучали.

Но пусть никто не подумает, что только этим они и занимались, — нет, и они и все другие персонажи нашей повести, что бы там ни было, продолжали делать свое дело, а не только переживали, шутили и «гоцали». Нет, все работали, и, когда наступил день технического совещания, каждый пришел наготове, и, мне кажется, пора о нем рассказать, поскольку теперь и мы можем считать себя готовыми воспринять все, что там произойдет.

Итак, за столом у конторы на свежем воздухе рано утром сидели: Мостовой, Сенчихин, Рудаков, Титова, Ларионов, Климушкин, Агеев, дядя Филипп,

Кузин, Бульдеев и еще люди, — не так много, поскольку время было рабочее, но десятка с два тут сидело. И, я думаю, не стоит останавливаться на том, как же уместились все за одним столом, это не столь уж существенно, кое-как пристроились, кто на чем.

Ну, разумеется, для начальства, особенно для Мостового и Сенчихина, нашлись местечки получше, то есть на том конце стола, куда уже достигала тень от конторы, причем сидели они на стульях, вынесенных из клуба, а не на рвущих штаны неструганых скамьях, как другие. Впрочем, сидел на стуле и Рудаков, как председатель совещания, которое, для точности скажем, считалось техническим совещанием при директоре. И должен был еще сидеть за столом и Климушкин, обязанный вести протокол, но этот не любил соваться на видные места и вместе с дядей Филиппом и Кузиным сидел сзади.

И занятно вот что: в то время как на скамьях сидели кучно, тесно и многих жарило солнце, за столом, несмотря на это, пустовали места, даже те, где была тень, — необъяснимая вещь, довольно часто наблюдаемая, и стоило бы об этом порассуждать, да не сейчас, лучше Агеева послушать, он первый докладчик: а впрочем, до него уже выступал с кратким словом Мостовой, разъяснивший цель совещания и попросивший всех высказываться открыто и даже, как он выразился, «нелицеприятно», главное же — вскрыть причины и наметить пути, как этого требует момент, после чего, по знаку Сенчихина, поднялся Агеев и, раскрыв папку с бумагами, начал так:

— Читаю, товарищи, заключение экспертизы.

«Пункт первый. Основание под дамбы подготавливалось в соответствии с проектными требованиями, — кивок в сторону Ларионова, сидевшего на самом солнцепеке где-то на задней скамье, — и техническими условиями, — кивок в сторону Титовой, сидевшей в тени на другой скамье. — Пункт второй. Грунт в дамбах вырастных прудов насыпан из карьеров, предусмотренных проектом, — снова кивок в сторону Ларионова. — Пункт третий. Укатка грунта производилась при естественной влажности грунта, без дополнительного увлажнения. . .»

— Стоп! — перебил Мостовой. — Почему без дополнительного увлажнения? Это значит — при насыпке грунт не поливали, не укатывали? Так?

— Я дам справку, — вскочил Рудаков. — Укатка производилась, но частично, ввиду несвоевременной доставки катков.

— Худо, — покачал головой Мостовой. — Значит, при шторме головная дамба может поплыть? Я ходил, смотрел — грунт в дамбах как мука, подуй, поплещи волной — все разлетится. Так же нельзя!

Поднялась Титова, вся исполненная серьезности и деловитости, и в самом деле, сейчас это была та самая Титова, которую так ценило ее начальство, — осмотрительная, спокойная, знающая цену людям и бумаге; и одета она была тоже по-деловому — синий жакет, синяя юбка, белая блузка, а из кармашка жакетика торчал карандаш.

Титова сказала:

— Позвольте, я. Тут дело еще в характере организации работ. Удивляюсь, почему это у товарища Агеева не отмечается? Я вот что выяснила. Произво-

дительность механизмов, разрабатывающих грунт в карьере, транспортирующих и отсыпающих его в тело дамб будущих прудов, составляет около восьми тысяч кубометров в смену, что вполне обеспечивает задание плана работ.

— У меня это отмечено, — попробовал вставить Агеев.

— Позвольте, — подняла руку Титова и продолжала свое: — А в то же время производительность средств укатки значительно отстает от производительности средств отсыпки и составляет...

Раздался голос Сенчихина, бархатный, но строгий:

— Вот мы и спросим у вас, почему на стройке не оказалось достаточно катков?

Титова не медля ответила:

— Беляевский завод их так и не...

— А вы сигнализировали? — снова остановил Титову Сенчихин, которого, казалось, нисколько не интересовало, прислал ли Беляевский завод эти катки стройке или не прислал, а интересовал, главным образом, лишь вопрос о своевременности подачи сигнала о неприсылке катков, и взгляд его, Сенчихина, устремленный на Титову, говорил: если сигнал, то есть положенное напоминание, был отправлен Беляевскому заводу вовремя, то все в порядке; а Титова, разумеется, сразу уловила, чего от нее хотят, и ответила:

— Конечно. И мы, и товарищ Рудаков писали заводу...

— Вот документик! — взялся за свои бумаги Рудаков.

— Товарищи, — развел руками Мостовой, — я вот сижу и все думаю: что, рыба у нас будет или нет?

— Вот это правильный вопрос, — подхватил и с места заговорил Кузин. — И главный! Тут, видите ли, товарищи, еще вот что. Ведь и поливки не было, не то что укатки, а с весны почти без дождей. Вот что хочешь, то и делай. А поливальных машин не оказалось вовсе, и нету их посейчас.

Мостовой повернулся к Сенчихину и спросил:

— А это почему, товарищ Сенчихин?

— Все было запланировано, — ответил Сенчихин, роясь в портфеле. — Не знаю, что тут получилось. Я разберусь, все было предусмотрено... Я докажу.

На ступеньках крыльца конторы рядом с тетей Аришей и Машенькой сидел паренек в красной футболке, он попросил слова.

— Позвольте мне! Отсыпаем мы дамбы поперечным манером, а это тоже не годится. Надо продольно отсыпать грунт, чтобы вдоль оси дамб...

— Как? — переспросил заинтересованно Мостовой и почему-то при этом посмотрел на Ларионова, будто именно от него ожидал ответа; и так как паренек, смутившись, все молчал, Ларионов поднялся и повторил его слова:

— Да, надо продольно отсыпать грунт, а не поперечным способом, это правильно, причем строго должна соблюдаться послойность отсыпки в пределах, заданных техническими условиями. А этого-то и нет.

Немедленно снова встала Титова и сказала:

— Разравнивание отсыпаемого скреперами грунта в дамбы должно производиться имеющимися грей-

дерами, производительность которых вполне достаточна.

— Я это и отмечаю в своих выводах, — сказал Агеев.

В таком духе шел разговор еще целых полчаса, и если вы думаете, что тут говорили только о способах отсыпки и укатки грунта в тело дамб и о своевременности поставки оборудования на стройку Беляевским заводом, то ошибаетесь, тут шла борьба особого рода, борьба за то, чтобы не оказаться виноватым, а для этого каждый в отдельности и все вместе прежде всего делали вид, что вообще-то никакой вины нет ни с чьей и ни с какой стороны: просто не утряслись какие-то технические вопросы, вот и надо утрясти их — и дело пойдет как нельзя лучше; а когда же иной пробовал исподтишка пустить стрелу в другого, то хранил при этом миролюбивую мину, и чаще всего средством нападения служил вопросик: «А скажите, пожалуйста...» Ну, а тот, кто отвечал, уж не оставался в долгу, разумеется, и задавал свой вопросик.

И, господи боже, как все это было знакомо столу, за которым шло совещание; но он сейчас совершенно не чувствовался, стол; он молчал, а похоже даже — дремал, будто все это было ему неинтересно: пускай себе поговорят; но вдруг он легко вздрогнул, — из-за угла конторы появились Аня и Зина, обе с робкими лицами приблизились к крыльцу и сели на свободные ступеньки.

И удивительно — сразу ощутилась какая-то всеобщая неловкость; каждый испытал ее, хотя и в разной степени. Но, конечно, опять никто и виду не подал, — наоборот, все было воспринято как должное,

пришли, сели, хотят послушать, ну и пусть, никому не запрещается, дело не секретное, сугубо техническое, а не какое-то там иное. Именно это выражали в своих выступлениях и репликах в ходе дальнейшего обсуждения и Сенчихин, и Агеев, и Титова, и Рудаков, и даже Ларионов, который как-то особенно старался подчеркнуть инженерно-техническую сторону дела, в то время как, между нами говоря, на душе у него все больше и больше накипало.

Жаль, маловато мы до сих пор рассказывали о Ларионове, а ведь что-то же в его душе должно было твориться, в самом деле, не дуб же он и не успело же его сердце в столь молодые годы зарасти дерном, черт возьми! Ведь — любитель поэзии! А значит — всего возвышенного, прекрасного, зовущего на безоглядный рыцарский подвиг! Хотя бы на то, чтобы показать, что слова его, Ларионова, те самые чудесные слова, которые он говорил Ане прошлым летом в ресторане при станции, не были пустым звуком.

Не мог же он, Ларионов, говорю я, не переживать, не мучиться сознанием того, что те самые слова оказались не пустым звуком пока лишь в одном отношении: они заронили искру в сердце сперва Ани, потом ее подруги Зины, и вот уже для этих девушек дела стройки стали их жизнью, и все происходящее здесь смешалось и связалось с их горестями и всем лучшим, что в них, девушках, есть.

А главное — все это так тесно переплелось с тем, чего бы они только и хотели и во что только и стремятся верить, что теперь уже, казалось, нельзя обмануть их надежды, преступно было бы не поддержать их, девушек, при таком серьезном обороте дела; вот

чего Ларионов, возможно, тогда, в ресторане, не предполагал, да уж, как видим, так получилось.

Что же ему теперь делать, скажите? Выход, конечно, есть: отступить, как говорят, на заранее подготовленные позиции, то есть сделать вид, будто ничего и не было, как чаще всего и случается. И правду сказать — такие попытки он, Ларионов, делал (ведь факт — не ответил на зимнее письмо Ани), и вот сейчас уже больше недели боролся с собой.

А впрочем, боролся он с собой давно, еще с того дня, когда получил письмо Ани и оставил его без ответа. А внутренняя борьба вещь такая: то ты так рассуждаешь, то этак, то решаешь одно, то другое. А время идет. И в одних случаях все как-то само затихает и глохнет, а в других, наоборот, все еще больше обостряется и доходит до того, что тебя хватает за глотку, — вот как бывает. И, кажется, именно к этому и шло дело, — я говорю, у него, у Ларионова, похоже, шло к тому дело. И тщетно он старался на описываемом нами совещании брать пример с великолепной Титовой, для которой, казалось, сейчас на свете не существовало ничего иного, кроме вопросов поливки и укатки дамб, разравнивания грунта и доставки катков с Беляевского завода, — увы, что-то грызло и грызло Ларионова в эти минуты, и не так просто сказать: что тут было?

Угрызения совести? Досада на легкомысленный промах?

Или тут было нечто большее: сомнение в собственной честности, вернее — пригодности на честные дела?

А эти сомнения — самое болезненное для челове-

ка, все-таки воспитанного на справедливости, и сколько бы ты ни искал себе оправданий — не найти их, не найти нигде и ни в чем. И если хотите знать, отчего Ларионову все это было вдвойне труднее переживать, то скажу: это был очень замкнутый человек, несмотря на то, что у себя на работе и в клубе архитекторов слыл общительным парнем. А замкнутым он стал еще в детдоме, когда еще мальцом понял, что родителей никто и ничто заменить не может и не скажешь другому того, что скажешь отцу или матери.

А кроме того, были еще другие причины, из-за которых молодой Ларионов часто замыкался в себе, и, кстати сказать, не раз и в прошлом он переживал периоды мучительных угрызений совести и сомнений в собственной честности. И лишь близкие друзья Ларионова знали, отчего он в такие периоды бывает так ершист, задирист, даже неприятен, — все это шло от возмущения, обращенного против самого себя.

Если после сказанного вам кое-что раскроется в поведении молодого инженера в Москве и здесь, в Барыбе, я буду доволен и смогу считать это хоть какой-то компенсацией за ту сдержанность, с какой до сих пор говорилось о таком важном персонаже нашей повести, как Ларионов.

Но обратимся к совещанию. Дело уже шло к выводам, которые собирался зачитать тот же Агеев, глядя на которого Кузин думал: «Вот бы с кем в ресторане вечерок посидеть», — как вдруг Мостовой хлопнул в ладоши и остановил ход совещания таким вопросом:

— Товарищи, я бы хотел знать, где главный ин-

женер стройки? Он здесь присутствует? А прорабы, десятники? Начальники участков?

Разом вскочило со скамей человек пять – все как на подбор молодые, зеленые, и вместе с ними поднялся и застыл в официальной позе Бульдеев, и раздались голоса, как на солдатской поверке:

– Я! Я!.. Я...

Бульдеев счел нужным особо доложить о себе:

– Я начальник участка, прораб.

Встал и паренек в красной футболке, сидевший рядом с Машенькой, и Машенька ему зловеще шепнула:

– Всё! Сейчас тебе будет...

Мостовой сказал Бульдееву:

– Про вас я все знаю, садитесь. – Затем, обратившись к остальным, Мостовой дал и им знак сесть. – Кто из вас главный инженер?

– Я и есть, – сделал шаг от Машеньки парень в красной футболке.

Рудаков поспешил дать справку:

– Главный инженер наш шестой месяц, как уволился по болезни. Его обязанности исполняет стоящий перед вами товарищ Орешкин, техник.

– Вам сколько лет? – спросил у Орешкина Мостовой.

– Двадцать четыре.

– Молодость не беда. У вас какое образование?

– Техникум... сельскохозяйственный. По мелиорации... Я эти дни рабсилу выбивал в области, только сегодня вернулся...

– Очень хорошо, – сказал Мостовой. – Дали вам? Тридцать человек, я слышал. Ну что ж... – Мо-

стовой обратился к остальным молодым парням: — А вы в каких должностях?

Опять вступился Рудаков и дал справку:

— Десятники, сами рабочие.

— А вы, товарищ директор, у вас какой стаж?

— Я до этой стройки пять лет работал в «Дальрыбе», начальником цеха на консервном заводе, — бойко и бодро ответил Рудаков, и, хотя было не совсем ясно, как он, что-то делая в консервном цехе, вдруг стал начальником строительной конторы, на лице у директора выразилось: «Не будьте наивны, тут все ясно», — и он сказал деловито: — Так переходим к выводам, что?

— Постойте! — вытянул руку вперед Мостовой, и все увидели, как он встал, подошел к крыльцу и с подчеркнутым расположением поздоровался за руку с Аней и Зиной. — Правильно, — сказал он. — Молодцы, что пришли. Очень рад!..

И тут же к девушкам подошел и Сенчихин.

— Правильно, — сказал и он. — Да, очень правильно! Я еще из вашего письма в редакцию представил себе вас с самой лучшей стороны. Да! Надо, чтобы все, решительно все болели за общее дело. Горячая заинтересованность! Романтика нам нужна, нужна!..

24. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ (продолжение)

Удивительное явление приходится наблюдать, и следовало бы его здесь хоть вкратце отметить в связи с замечанием Сенчихина о романтике.

А удивительно оно, это явление, вот чем: о романтике часто пекутся люди, сами деловые, трезвые, насквозь, я бы сказал — земные, им охулку на руку не клади, а вот романтику им подавай, да погуще. И я думаю, не обижу Сенчихина, — ведь о присутствующих не принято говорить, — если сошлюсь на одного знакомого: деляга страшный, на ходу подметки рвет, а выставляет себя этаким отрешенным от земных дел и чуть ли не малоприспособленным к жизни человеком; только и слышишь от него: «Я, знаешь, не умею устраиваться, как другие», — а сам всех расталкивает локтями, чтобы ухватить себе кусок пожирнее, вот от него я тоже нередко слышу о том, что романтика, бескорыстная увлеченность — это, брат, самое главное!..

Но все это, конечно, нельзя относить в прямой форме к Сенчихину, тут дело обстоит посложнее, и не станем глубоко закапываться, — идет совещание, и будем внимательны, чтобы чего-нибудь важного не прозевать.

Когда Мостовой и Сенчихин вернулись на места, всеобщая неловкость как-то сразу разрядилась и девушкам стали отовсюду улыбаться, им даже подмигивали: дескать, то-то же, вы в самом деле бравые девчата, мы это знали, а сейчас, видите, и высокое начальство признает! Но чем больше девушкам выказывали одобрение, тем больше смущались они, и спас их Агеев — он спросил у Мостового, но как бы в то же время и у Сенчихина:

— Я могу огласить выводы?

— Да, да, — закивал Мостовой и сказал Рудакову: — Товарищ директор, ведите совещание.

Агеев ретиво пустился читать по бумажке:

— «В выводах предлагается следующее. Отсыпку новых дамб производить согласно прилагаемой при сем рекомендации по дальнейшей организации работ. Что касается уже отсыпанных дамб, то для приближения их к монолитной грунтовой массе, противостоящей фильтрации, необходимо: а) увлажнить отсыпанные дамбы путем глубокой поливки, б) дополнительно сильно укатать тело дамб, особенно откосы».

Сенчихин подал голос:

— Правильный выход из положения...

— Нет! — поднялся с места Ларионов и с этой минуты уже не садился, что выражало, очевидно, его готовность к серьезному сражению. — Нет! — повторил он решительно. — Я не согласен! Это не выход!..

«Произошло замешательство», — писали в таких случаях в старинных романах, и мы без смущения воспользовались бы этой испытанной формулой, будь она кстати. Но, к сожалению, этого-то и не случилось. Никакого замешательства среди участников технического совещания не произошло. За одним, правда, исключением, да и то еще вопрос — исключение ли это.

Дело в том, что в то время как одни, услышав слова Ларионова, посмотрели на него с недоумением: «Ну что тебе вздумалось возражать, ведь завтра уедешь?»; другие — с досадой: «Ну, сейчас начнется»; третьи — с тайным злорадством: «Ага, наконец-то!», — среди всех этих разноречивых откликов на ларионовское «нет» вдруг проявил изрядную расте-

рянность не кто иной, как наш работяга стол, — он как бы вздрогнул всеми своими щербатыми досками, ожил и проскрипел что-то невнятное, содержавшее вроде бы упрек Ларионову: «Что ж не посоветовался, брат, я бы тебя кое-чему поучил».

Но поскольку, я думаю, непосредственным участником совещания стол считать нельзя, то его поведение не следует брать в расчет. И, таким образом, мы можем в итоге остаться при прежнем утверждении, а именно — не было замешательства, и единственное, что усмотрел в заявлении Ларионова, например, председательствующий Рудаков, было то, что он, Ларионов, нарушил регламент совещания, не попросив слова, в связи с чем директор и сказал ему с достоинством человека, сознающего всю важность возложенных на него обязанностей:

— Товарищ Ларионов! Я вам слова не давал!..

Тут поднялся Мостовой и, тоже больше уже не садясь, обратился с вопросом к Ларионову:

— С чем вы не согласны?

Ларионов произнес дерзко и вызывающе:

— Все мы разъедемся, и всё останется, как было.

Вскочила, услышав это, и Титова и тоже уже не села, и вид у нее был встревоженный, такой, будто Ларионов сейчас произнес какие-то страшные слова, которые могут хоть кого угодно напугать, и зря, лучше было этих слов не произносить; и она, Титова, это самое и выразила, обращаясь к Ларионову:

— Ой, товарищ Ларионов!..

Теперь — обратите внимание — стояли трое: все остальные пока сидели на своих местах и ждали, что будет дальше. А дальше было вот что: вперив в Лари-

онова долгий (и, между нами говоря, очень усталый, смертно усталый) взгляд, Мостовой со вздохом спросил:

— А что же вы предлагаете?

Ответ Ларионова был беспощаден.

— Тут надо все ломать, все перестроить! — рубанул он рукой воздух на манер Бульдеева. — Эту глубокую провинцию надо ломать! Мы тут не строим, а кустарничаем! Это позор — в наш век так строить! Рыбы не будет, товарищ Мостовой! При такой работе не будет! За сто лет не доберемся ни до чего!

Он просто кричал, Ларионов, и было даже непонятно, откуда у него взялся такой мощный голос, — казалось, вся Барыба слышит; и многие пригнули голову, словно при грозе, но, впрочем, нам приходилось видеть подобные движения голов и в тех случаях, когда на собраниях с трибуны вдруг слетало крамольное слово; и я думаю, движение это — голова книзу — означало желание показать: я этого слова не слышал и того, кто его произнес, не видел, и меня самого здесь тоже нет; вот точно так поступили сейчас Климушкин и дядя Филипп, и со стороны могло показаться, что они решили вдруг самым внимательным образом изучить, сколько же грязи налипло на их сапоги. Даже тетя Ариша опустила голову, но, впрочем, тут же подняла, — что ей, в самом деле, пускай другие держат голову долу, если не могут иначе.

В общем, как видим, замешательство в конце концов все же наступило, и тогда — четвертым — встал Сенчихин и сказал, держа голову немного приспущенной и глядя исподлобья на Ларионова:

— Вы сказали — рыбы не будет. Дело не в рыбе...

Сенчихину, тоже оставшемуся стоять, возразил Мостовой:

— Нет, в рыбе. Тут он прав...

— Что же у вас вызывает возражения? — спросил Сенчихин, и взгляд у него все еще был направлен на Ларионова исподлобья.

— Всё! — ответил необдуманно Ларионов, и опять раздалось обеспокоенное шебуршание стола, а Сенчихин, словно вдруг чем-то ободренный, теперь уже с гордо поднятой головой, сказал Мостовому:

— Вот видите?

Мостовой, не отвечая ему, бросил Ларионову слова, которые, возможно, самому ему, Мостовому, казались чем-то вроде спасательного круга:

— А вот это уже неправильно, дорогой товарищ. Я хотел бы уразуметь, товарищ Ларионов, что именно вы мыслите себе взамен сломанного «всё»?

Было понятно, старый Мостовой ждал ответа, который снял бы все напряжение и не дал бы Сенчихину топить Ларионова, но ответа такого не последовало — Ларионов вдруг как бы потерял голос, — и Сенчихин, разумеется, поспешил воспользоваться этим.

— Странное заявление, — многозначительно произнес он.

— Ой, товарищ Ларионов, товарищ Ларионов, это же ни к чему! — совсем растревожилась Титова.

— Все уже ясно в общем, — еще более многозначительно произнес Сенчихин, сложив руки на груди.

— Ничего не ясно, хоть начинай все сначала, — горячо вступился Мостовой. — Это же важно: будет рыба или нет? И не менее важно: что люди думают

о нас, работниках аппарата? Для них же мы, а не они для нас!

И тут вскочил Климушкин, всегда тихий и так редко выступающий на собраниях Климушкин, и люди просто даже опешили, увидев его в числе стоящих.

— Я не могу молчать! — сильно волнуясь, начал поразивший всех Климушкин. — Я бухгалтер здешней стройки! Товарищи! Ведь трудно здесь! Степь! Далеко от центра! Одна верблюжья колючка! Штаты, ставки мизерные, снабжение плохое! Попробуйте в таких условиях, при таких обстоятельствах! Вникните! Зимою ветер с ног сшибает! Бездорожье! Трезво, реально взвесьте всё!

Не утерпела Аня и тоже вскочила.

— Папа! — попыталась она его остановить. — Папа! Не надо!..

Итак, уже шестеро стояли, а седьмым стал тоже весьма тихий человек — дядя Филипп, — он поднялся, пошел к крыльцу и сказал Ане, ласково тронув ее за плечо:

— Ты, детка, молчи! Что папа? Что папа? Он тыщу раз прав, миленькая!

Я уверен, тут многие подумают: вот она, главная минута, когда все должно решиться. Вот, скажут знатоки литературных построений, вот где быть кульминации, то есть наидраматичнейшему моменту из всех, какие приведены в повести; ведь нам уже известно, что переживал Ларионов в эти минуты, а про Аню и Зину, про этих девушек, жизнь и устремления которых мы уже знаем, я думаю, и говорить нечего. Можно только представить себе, что они переживали,

когда в ходе совещания пошел (господи ты боже мой, и как могут притворяться люди!) разговор о поливке, укатке, утрамбовке и все, ради чего живет человек и ради чего солнце светит, стало тонуть в агеевских пунктах экспертизы отсыпки дамб, бесспорно основательных, впрочем, с точки зрения специалистов и в столь же в общем-то основательных рассуждениях Титовой о вполне обеспечивающей выполнение плана работ производительности механизмов, составляющей, как она, Титова, указала, восемь тысяч кубометров в смену.

А когда потом Ларионов в ответ на вопрос Мостового стал объяснять вместо паренька в футболке, каким манером лучше отсыпать грунт в тело дамб — поперечным или продольным, — в те самые минуты (я это точно знаю и еще объясню, откуда знаю), в те самые минуты, говорю я, когда девушки, сидя на ступеньках крыльца, слышали все это, то у них было лишь одно желание: встать и ринуться куда глаза глядят — хоть в воду, хоть в огонь, куда угодно, и если они усидели все же на месте, то оттого, что просто не хватило сил, отказали ноги, такая слабость сковала их.

А потом, когда Мостовой и Сенчихин подошли и пожали девушкам руки (поверьте, я это тоже точно знаю), обе они чуть не разревелись, хотя, как мы знаем, были далеко не маленькими и кое-что хлебнули в жизни, но на сей раз они нашли в себе силы одолеть слабость и глаза их остались совершенно сухими, только жарко горели, но это ничего, это терпимо при посторонних — жар в глазах, только бы не слезы.

Но вот дело дошло до выводов — и Ларионов вдруг

поднялся и решительно отверг все, что было в выводах, и потребовал все ломать, — ох как забились в эту минуту сердца у Ани и Зины! Казалось, не было в их жизни более волнующей минуты, и я даже не знаю, как определить чувство, охватившее их, — это не могло быть ощущением счастья, пожалуй, ведь не все то, к чему мы стремимся, приносит личное счастье, есть еще чувство справедливости, удовлетворение от сознания того, что надежды твои сбываются. И мне хотелось бы, чтобы было оценено то, что это чувство, это удовлетворение испытали девушки, которым часто вполне достаточно лишь ощущения личного счастья, идущего от чисто женского стремления быть во всем заодно с тем мужчиной, который по душе.

Тут было, я уверен, нечто большее, нечто шедшее от сознания, что Ларионов, на которого уже хотелось махнуть рукой, вновь предстал таким, каким был в тот прошлогодний вечер в ресторане, — умный, милый, твердый в своей вере, что прекрасное есть, что надо всегда и везде делать хорошее, не жалея сил и ничего не страшась, что мечта не должна оставаться только поэзией, а действительность всегда только прозой, что жизнь должна стать такой, чтобы она отвечала высоте чувства, — одним словом, что благородство и красота и все то, что в надписи на храме в Дельфах было выражено в словах: «Ты еси», — все это ведь на самом деле есть, есть! . .

Но минуты есть минуты, и сколько ни восклицай: «Остановись, мгновенье!» — бега времени не остановишь.

— Товарищи! — раздался голос Титовой, когда все, что происходило до сих пор на совещании, и, по-

жалуй, не только здесь, когда казалось, вот-вот опрокинется Барыба, а может, и весь мир и начнется что-то совсем неправдоподобное и немыслимое, когда момент кульминации был уже почти неминуем, в этот самый момент, предотвращая, таким образом, все, что могло бы насытить нашу повесть, потрясающими сценами, которых ей так не хватает, раздался, говорю я, голос Титовой: — Товарищи! — после чего она во второй и в третий раз сказала: — Товарищи! — а затем, возвращая всех к действительности, еще сказала: — Я не понимаю — все-таки ведь мы тут собрались, чтобы по-деловому и всерьез обсудить сугубо технический вопрос, и тут ни при чем, извините, разные эмоции, только отвлекающие нас от сути дела. Абсолютно ни при чем!..

И как только она, Титова, произнесла эти слова, все, кто стоял, и сама же она первая, стали усаживаться обратно на свои места и все стало входить в свои берега. И, очень точно почувствовав это, наконец-то позволил себе встать и Бульдеев, — он вскочил, весь сияя каким-то уморительным подвижничеством, и крикнул зычно:

— Товарищи! Имею сделать заявление! — Он повторил, в страшной спешке вытаскивая из кармана бумагу: — Заявление! Я прочту! — И он прочел: — «Объясняю собранию о моем нетактичном поведении в отношении семейной жизни и моего трогательного состояния после выпивки...»

Глеб Успенский, известный русский писатель прошлого века, когда-то называл крестьянские сходки «волосатой путаницей», и, конечно, к тому собранию или совещанию, которое мы описываем, такое

определение никак не подходит. Сидели тут не бородатые мужики, которые во времена Глеба Успенского, наверное, в самом деле, собравшись на сходку, принимались все разом кричать каждый свое, так что терялась даже та причина, из-за которой и собралась сходка.

Нет, у стола, говорю я, сидели, как мы знаем, инженеры, техники, образованные люди, меньше семи классов тут никто не кончал (не считая, впрочем, Бульдеева, у которого, как мы уже знаем, было семь классов на двоих с братом); но, ей-богу, чем-то таким похожим сильно запахло, когда Бульдеев влез в ход совещания со своим покаянным заявлением, написанным по совету дяди Филиппа вместо того, первого заявления, которое Бульдеев собирался подать на Ларионова, — и хотя всем присутствующим стало ясно, чего хочет Бульдеев, то есть что, вступая на путь честной самокритики, он рассчитывает на снисхождение, все же, казалось, дело так окончательно запутывается, что хоть плачь; и тут Мостовой нашел простой выход — он посмотрел на часы и сказал Рудакову:

— Товарищ директор, объявите перерыв!

С лихостью солдата, мгновенно понявшего маневр командира, Рудаков вскочил и крикнул:

— Объявляется перерыв!..

Тут уже все встали со своих мест, и последней поднялась Машенька, потянулась, зевнула сладко и сказала:

— И пожалуйста кушать, кто желает. Обед готов!..

В тот же день, ближе к вечеру, по дальним местам берега ходили Ларионов и Титова и вели такой разговор:

Она. А зачем вам это нужно все? Вы же взрослый мужчина, не мальчишка какой-нибудь, а опытный инженер! Никто ничего не станет переделывать, вы же это отлично должны знать! И вообще давайте посидим немного, я тут безумно устаю из-за этой жары!

Ларионову слышался в эти минуты совсем другой голос, не Титовой, а тот, который мы часто уже приводили, отлично сознавая, конечно, что рискуем подвергнуться, возможно даже, насмешкам, но уже ничего не поделаешь, что начато, то надо продолжать, и поэтому, вернувшись к голосу, который мы упомянули, скажем, что этот голос внушал сейчас Ларионову нечто, на мой взгляд, весьма жизненное:

— Жара, зной... О, если бы ты знал, голубчик, какой ветер свистел здесь зимой и даже в недавние весенние месяцы! О, сейчас-то еще хорошо, летом. Но пробежит еще месяц-другой — и снова засвистит ветер. О, как нелегко станет здесь людям! Дожди, грязь, стужа, вой собак по вечерам, редкие огоньки, а до станции, до ближайшего кинотеатра — пятнадцать километров!..

Титова. Я вам еще вот что скажу, Аркадий. Тебе... тебе, я что-то стала «выкать». Слушай, я же тебя очень хорошо понимаю! Ты на сто процентов прав! Но ты вдруг странным образом упустил из виду то, что все должны учитывать. Я поражена, просто

поражена! Это же закон жизни! Ты пойми, Аркашенька, — ведь, конечно, всякая мать хочет, чтобы ее ребенок был идеально красив! А дети не все такие, почти не бывает идеально красивых людей, они такие, какие есть! Мать, разумеется, вкладывает в них самое лучшее и красивое, что в ней заложено, и вот это-то и есть идеальное, самое возвышенное чувство из всех! Но плод ее забот сплошь и рядом не совершенство, увы! Совершенно, может быть, только стремление наше...

Он. Постой, ты сама же себе противоречишь! Стремление ты признаешь, а ведь стремления без цели не бывает...

Она. Голубчик, ну что же делать, так уж складывается, что дитя не вырастает в того, кем хотела бы его видеть родная мать! У нее, у матери, как говорят у нас в технике, всегда оптимальный вариант!.. Любовь в наивысшем выражении!

Он. Любовь... Любовь как раз и стремится всегда к оптимальному варианту. Так почему же мы в своей области не можем?..

Дальше случилось то, что не так просто укладывается в драматический диалог.

Она схватила обеими руками лицо Ларионова, повернула к себе, поцеловала каким-то отчаянным поцелуем, словно целовалась в первый или последний раз, и умоляюще заглянула в его, Ларионова, глаза, как жаждущий заглядывает в глубокий колодец, чтобы узнать: есть ли там хоть капля воды? И так как что-то очень смутное, неясное виделось там, на дне его глаз, Титова все тянулась в ту глубину и не отпускала обращенного к себе лица Ларионова.

Несмотря на весь особый интерес, который придал бы главе подобный срыв в поведении Титовой, мы лишены, к сожалению, возможности показать этот срыв, потому что Титова сумела удержаться и последовал такой диалог, тоже произнесенный с большим волнением, но без того срыва, который мог произойти:

Она. Поедем в ресторан, Аркаша! Поедем!.. А?.. Там ты мне все выскажешь, стихи почитаешь, как читал когда-то в институте, а я в долгу не останусь, не останусь... Ну? Это ужасно, может быть, что я тебе сама это предлагаю и так бесстыдно. Ведь я же говорила тебе, я тоже хочу, чтобы наши достоинства и стремления приносили что-то реальное. Честность, верность себе, красота желаний и глубина мысли — ведь это прекрасно? Ради этого и живешь! Поедем! Аркаша мой! Я, может быть, тоже воспламенюсь, как... помнишь, в институте ты часто приводил чьи-то стихи: «И может быть, я Байроном проснусь в какой-нибудь четверг иль понедельник». Едем, Аркашенька!

Он. Постой. Вот, кстати, о стихах...

Вчера вечером, как раз накануне технического совещания, Ларионов обнаружил у себя в палатке под подушкой, где он держал свои служебные бумаги, отпечатанный на машинке листок, который бог весть каким образом там очутился, — именно вот об этом листке вспомнил сейчас Ларионов, и, высвободив наконец свое лицо из рук Титовой и на всякий случай отступив шага на два от нее, он стал рыться в кармане, где хранил листок со вчерашнего вечера. И пока листок не нашелся среди других бумаг, кото-

рыми был набит карман, — когда человек в командировке, у него всегда набиты карманы всякой всячиной, — пока, говорю я, этот листок не отыскался, у Ларионова было такое обеспокоенное лицо, точно он потерял какую-то величайшую драгоценность, но вот листочек уже у него в руках.

Он. Представляешь, вот это, видишь, это самое вчера мне кто-то подкинул под подушку. Стихи одной поэтессы. . .

Она. Да? О, хочу прочесть. Дай!

Он. Сейчас я их тебе сам прочту, слушай!

Сорваться эффектнее, чем устоять,
Разбить романтичнее, чем уберечь,
Отречься приятнее, чем настоять,
А самая легкая вещь — умереть.
Мне тоже нет-нет и захочется прочь:
В какую-то бурю, в какую-то ночь,
И хлопнуть какими-то эдак дверьми
С каким-нибудь «Эх!» или «Дьявол возьми!».
Но нет, не сорвись. . .

Все стихотворение Ларионов не прочитал; сделав большой пропуск, он с особым ударением привел еще только одну строчку:

Но в том-то и дело, что дело не в том. . .

Возможно, он прочитал бы стихотворение до конца, но его заставило поторопиться появление на берегу дяди Филиппа, Кузина и Климушкина, которые, очевидно, вышли пройтись перед ужином.

— Вы заметили? — говорил в эту минуту дядя Филипп своим спутникам. — Я не выступал, я молчал. . .

И действительно, на техническом совещании дядя Филипп не произнес ни слова, если иметь в виду не какие-то случайно или даже не случайно оброненные слова, а те, которые произносятся в порядке выступления в ходе прений; такого не было, точно, дядя Филипп в течение всего совещания слова не брал.

— А чего кричать? — пожал плечами Кузин и первым поздоровался с Ларионовым и Титовой: — Добрый вечер!

— Я никого не осуждаю, — продолжал тем временем свое дядя Филипп. — Я сознаю: подписывал процентовки. — И тут только, прервав разговор о наболевшем, о том, о чем он, дядя Филипп, сейчас, в этот вечер, уже не мог молчать, он тоже закивал Ларионову и Титовой: — Доброго вечера, товарищи инженеры!..

— Добрый, добрый вечер, — сказал москвичам и Климушкин и при этом почему-то еще добавил: — Извините, мы на прогулке...

— Без тебя мы бы без хлеба сидели, — сказал Кузин дяде Филиппу, и поскольку он, Кузин, первым поздоровался с Ларионовым и Титовой, которые стояли сейчас молча, глядя куда-то вдаль, то первым с ними и попрощался: — Доброй ночи!..

— А как я мог не подписывать! — с сердцем воскликнул дядя Филипп. — Что я, без глаз? Без сердца? — Затем, повернувшись к Ларионову и Титовой, он тоже попрощался: — До свиданьица, уважаемые...

Но вот все трое повернули обратно, и скоро их не стало видно за гребнями дамб, и Титова опомнилась.

Она. Как там написано? «Сорваться эффектнее, чем устоять»? Вот какие стихи тебе подбрасывают! Интересно! Так могут только шестнадцатилетние девушки поступать. Даже не поверю, чтоб это сделала Аня или Зина! Им уж не по шестнадцать и даже не по двадцать. А что тебе этим хотели сказать? Дай мне самой прочесть. Ага, спрятал? Дорожит! Небось понравилось, да? Некоторые женщины до конца дней остаются девочками, и с ними, конечно, очень приятно...

Он. Ладно, хватит! Не заставляй меня пожалеть, что я тебе эти стихи прочел. И вообще...

Она. Что вообще? Что? Листочек написан на машинке, а как раз вчера Аня помогала весь день отцу в конторе и что-то печатала. Скажи, какая!..

Он. Ну, хватит, просят же тебя!..

Она. А я хочу вспомнить, не торопи меня!.. Я тоже ведь люблю стихи! Как же?.. Постой, постой!.. «Разбить романтичнее, чем уберечь, отречься приятнее, чем настоять... Но в том-то и дело, что дело не в том...» Скажи пожалуйста! Ай да девчата тебе попались, а, Лариосик? Стихами объясняются. Вот, дескать, какие мы поэтичные!..

Он. Завидуешь? Сама не сумела бы так?

Она. Как легко тебя купить, оказывается.

Он. Эх, Ирка ты Ирка! Это же серьезнее, чем ты... чем, может быть, мне самому хотелось бы! Такими стихами шестнадцатилетние не увлекаются и не кладут их под подушку тридцатилетним мужчинам.

Она. Таким как раз и кладут! Не знаешь ты современных девушек. Одна девушка у нас в тресте

недавно вдруг подходит: «Ирина Романовна, нет ли у вас сочинений Бенедикта Спинозы?» Я ахнула: зачем ей этот философ семнадцатого века сдался? Оказалось, парень у нее завелся, он эти книжки изучает у себя в вузе.

Он. Слушай, Иринушка, где-то я, может, это читал. Мысль вот какая: если долго припрятывать свои взгляды и убеждения, то можно и вовсе их лишиться. Хвать — ничего не осталось!

Она. Ты мне этого не говори!

Он. А что ты кипятишься? Убеждение, как и любая мысль, без действия хиреет, только и всего. Не такое уж великое открытие мои слова.

Она. Ну, знаешь! Ты же сам такой, чего рисуешься? Не мальчишка! Хочется тебя так отчитать, так отчитать! Нет, ты увлекся, увлекся, я поняла, недаром племянницу Мостового оставил. Я еще в Москве слышала...

Он. Ну же, ну, договаривай. Эх ты! Креп-жоржетовая фигура, как тебя звали в институте. Креп-жоржетовая! Такой и осталась!..

Даже я начинаю волноваться, — я, так долго и тщательно изучавший эти события, не странно ли? Ведь все дальнейшее мне известно, но, видно, человек уж так устроен, даже зная, чем дело кончилось, он переживает все как бы заново.

В тот вечер еще вот что произошло: часов около десяти у себя в палатке сидели еще нераздетые на койках Аня, Зина и Титова (больше тут коек не было), а Климушкин, тоже находившийся здесь, сидел

рядом с дочерью на ее койке, и сейчас мы расскажем, о чем тут был разговор, но сперва узнаем, что хочет тетя Ариша, заглянувшая в палатку.

— Мостового Александра Макарыча не видели? Ему в контору надо, — сказала тетя Ариша. — Из Москвы на провод вызывают.

— Придется его разыскать, — поднялся с койки Климушкин. — Он где-то на дамбах.

Ушел Климушкин, поспешил за тетей Аришей, и долго никто в палатке не нарушал тишины, и то была особая тишина: текли минуты, когда взвешивается и оценивается целая жизнь. Это всегда грустные минуты, — не потому, что в жизни, допустим, все было беспросветно и неудачно, нет, само раздумье о жизни, даже неплохо прожитой, порождает особую печаль, нечто такое, что появляется, когда слушаешь хорошую музыку.

Это доброе чувство, оно делает человека чище, лучше, а главное — честнее перед самим собой, — вот в таком настроении и пребывали три женщины, сидевшие в этот вечер в палатке на своих койках, и — что может даже показаться странным — все три в эти минуты думали об одном и том же; во всяком случае, когда Титова, приложив к глазам платочек, первая нарушила тишину и заговорила, то Аня и Зина ее сразу поняли, а сказала Титова с уже блестящим от слез лицом вот что:

— Девочки, милые вы мои, хорошие! Вам-то ничего, а ему будет худо, это вы понимаете? Его могут прижать, снять, загнать бог весть куда. Я уж не говорю про поездку в Париж, Брюссель и Амстердам, в чем ему так завидовали! И это полетит. Но дело не

в этом. Вы же и сами не в безвоздушном пространстве живете, сами знаете, что бывает. . Я, конечно, вас не уговариваю уехать, как сейчас советовал Андрей Михайлович, ваш удивительно симпатичный отец, Аня. Вы свободны поступать, как вам подсказывает совесть и прочее, но последствия вы должны ясно себе представить. А они в перспективе печальны. И больше всего для него, для Ларионова! . .

Из слов Титовой вам должно быть ясно, о чем шла речь в палатке до ухода отца Ани, и мы поэтому не станем все пересказывать, тем более — вообще пора прекратить комментирование событий, происходящих в нашей повести, дело идет к концу, и, видите, уже затевается разговор об отъезде Ани и Зины из Барыбы. Да и пора им, кстати сказать, особенно Зине, ей осталось до конца отпуска менее трех суток, а что касается Ани, то она хоть и могла бы еще оставаться здесь, да зачем? Пора и честь знать. Оставшиеся свободные деньки она недурно проведет и там у себя, в Новочеркасске.

Именно так говорил до ухода Климушкин, и то, что сейчас сказала Титова, собственно, продолжало уже начатый разговор. И что любопытно — никто ей, Титовой, не возразил, опять установилось молчание, опять текли минуты задумчивой печали, и, пока они текли, Аня что-то писала, держа на коленях бухгалтерскую книгу, а Зина вязала какую-то шапочку.

Первой заговорила на этот раз Аня.

— Он даже похудел за те дни, как приехал, — сказала она.

Не требуется объяснять, кого имела в виду Аня. Все понятно. И хочется здесь только отметить, что

сегодня они, эти три женщины, ничего друг от друга не скрывали и что думали, то говорили. И это — бывают такие обстоятельства — нисколько не мешало их интересам, еще до сегодняшнего вечера столь разноречивым (мы имеем в виду, конечно, Аню и Зину как одну сторону, а Титову — как другую). Это не мешало им, говорю я, быть почти до конца откровенными, не хитрить, не обманывать, что так портит нервы.

И видите — Аня не постеснялась запросто выразить сочувствие Ларионову, который, на ее взгляд, похудел за эти дни, а Титова, не пряча загоревшегося в ее глазах интереса, даже отняв от них платочек, с живостью спросила:

— Вы с ним виделись, говорили?

— Нет, — вступила в разговор и Зина. — Так, случайно на глаза попадались... то мы ему, то он нам.

— Он переживает, конечно, — вздохнула Титова и сделала то, чего никогда не сделала бы при других обстоятельствах: она заглянула через плечо Ани в бухгалтерскую книгу, полюбовалась записями, которые Аня туда вносила, а затем Титова с искренним восхищением произнесла, ласково прикасаясь к руке Ани: — Как хорошо, что отцу помогаете!.. Ведомость на зарплату... Я думала — стихи! Процентовка, банк, зарплата, жизнь... Так что ж вы решаете, девочки?

Не получив ответа, Титова с жаром продолжала:

— Вы не обидитесь, девочки? Я все думаю: что вам до стройки, девушки милые? Даже в газету написали! Я уж себе говорила: скорее всего тут личное.

Стремление к прекрасному? Да, конечно, это свойственно всем. Но жизнь есть жизнь... И в каждом трепещет живая душа и жаждет своей капельки счастья и радости.

Вот это был честный разговор, слова Титовой тронули Аню, и, отложив книгу, девушка протянула руку той, которую до сегодняшнего вечера не выносила, и сказала с волнением:

— Давайте помиримся!

У Титовой от умиления брызнули слезы из глаз.

— А мы же не ссорились, Анечка! Мы же друзья!

— Дайте руку! — требовала Аня. — Дайте! Мы же с вами почти одного поколения, чуть моложе, чуть моложе. Что такое два-три года! Вы честный человек, Ирина Романовна! Вы говорите, что думаете. Это дорого!

— Как же... Как же! — вытирала глаза Титова.

— Ведь нам что дороже всего? Не обмани! Не обмани! Не надо обманывать, говорить то, чего нет! Исповедуй и говори только то, во что веруешь!

— Да, да... Да, конечно! — кивала и кивала Титова.

— Вот вы честно, — говорила Аня, тряся ее руку. — Другие хитрят, говорят: все будет замечательно, все будет хорошо! Вы говорите: конечно, тут достроят, но не так, как надо, дамбу не передвинут, и она разрушится раньше срока, только и всего, и все будет стоить дороже, и в общем будет рыбхоз, и отрапортуют как надо, а сделали не как надо. И во всем этом вы, Ирина Романовна, абсолютно правы! Это честно!

Зина вставила:

— И что Ларионову достанется, это тоже правда...

— Не могу же я вам лгать, девушки! — искренне уверяла Титова.

— А в нас не ошибайтесь, — сказала Аня. — Мы тоже не всегда говорим и поступаем, как хотим.

— Нет, девочки, вы не такие! — запротестовала Титова.

— Такие, такие, — заверила ее Аня и повернулась к Зине: — Может, раскрыть Ирине Романовне темные бездны моей и твоей жизни?

— Аня! — предупреждающе крикнула подруге Зина.

Титова совсем разволновалась, обняла одной рукой Аню, другой Зину.

— Я так не могу, девочки! Родные вы мои! — Она стала целовать девушек с такой страстью, с какой целуют самые дорогие существа, для которых вы готовы пожертвовать всем. — Ах, девочки, девочки! Ваш отец, Аня, рассказывал мне тут как-то про Звонковое и приводил слова того старого колхозника по поводу пьесы: «А де вы бачилы? . .» Ой, девочки мои! Я же с вами, с вами! Всем сердцем! Я ведь того же хочу! Того же! Чтоб все вокруг радовало, сверкало! — И тут, повалившись на койку, Титова расплакалась навзрыд. — Как вы не понимаете?

Опять наступила минута грустной тишины, и это тоже, мне кажется, была хорошая минута, несмотря на безудержный плач Титовой и на то, что от ее вздрагивающих плеч сотрясалась вся палатка; и казалось, не нарушает этой минуты и то, что Зина, бросив свое вязанье, пересела к Титовой и принялась

ее утешать, и я думаю, не нарушил тишины и задумчиво прозвучавший голос Ани:

— Да, старый дядька в Звонковом это говорил... «Нема такой у нас в Звонковом». Папа рассказывал. Ну, так что ж? Уезжаем? Нема таких — и все!..

Подошла и ее очередь сделать то, что давно пора было сделать, — поплакать, пореветь, чтоб душа облегчилась.

— Ну вас всех к черту! — сердито крикнула она и залилась слезами. — С вами просто невозможно, душу рвет!..

26. А ДЕЛА-ТО ИДУТ!

Некоторые причины и среди них едва ли не главная — необходимость ускорить наше повествование — заставляют нас оставить в стороне подробное изложение технических обсуждений, которые, естественно, еще продолжались и в уже описанный нами день и на следующий; нет у нас, к сожалению, времени и на то, чтобы поставить вас в известность о тех разговорах и переговорах, которые велись на стройке в течение этих дней между участниками приведенных здесь событий.

Могу только перечислительно сказать, что был большой деловой разговор с глазу на глаз между Сенчихиным и Мостовым. Между Титовой и дядей Филиппом. Между Агеевым и Рудаковым. Состоялись встречи и переговоры также между Сенчихиным и Бульдеевым. Между Рудаковым и Климушкиным. Между Мостовым и Кузиным.

И только три человека не привлекались к этим встречам, разговорам и переговорам: Ларионов, Аня и Зина, — их не трогали. А впрочем, один разговор между Титовой и девушками мы привели, и хотя, мне кажется, к числу деловых его отнести нельзя, все же это был серьезный разговор, из тех, что не проходят без последствий.

Остается, следовательно, ни при чем один Ларионов, но на исходе следующего после совещания дня и его втянуло в водоворот: он получил записку от Зины с просьбой прийти в десять вечера для разговора на берег водохранилища, на то именно место, где лежит на песке опрокинутая дном кверху неисправная лодка. И когда ровно в десять, при уже сгустившихся сумерках, Ларионов явился на свидание, то увидел у лодки одну лишь Зину, и та сразу сказала ему, что Аня сюда не придет и все, что Аня хотела бы высказать на прощание, придется Ларионову выслушать от нее, Зины.

— Уж не обессудьте, — церемонно поклонилась Зина.

— Нет, ничего, — со вздохом ответил он. — Пожалуйста. Мне все равно. . .

— Вам не все равно, — сказала Зина.

— Может, и нет, — согласился он.

— Тогда приступим, — сказала Зина.

— Давайте, — кивнул он.

Оба уселись на днище лодки и начали разговор.

Она. Вас удивляет, наверно, что я взялась поговорить с вами, но Аня вам того не скажет, что скажу я. Хотя и мне не легко с вами. . . Я ведь заводская. Подойду к рабочему, особенно эти новенькие мне

досаждают, и скажу этак: «Ты что стоишь покуриваешь? Будем коммунизм строить или как? А ну, давай!» Бежит к станку как миленький! Но это предисловие. Я тут, признаться, извините за грубость, пришей кобыле хвост. А вот Ане моей это все... ближе. Вы бы знали, как она ждала отпуска!

Он. Догадываюсь.

Она. Нет! Что такое женщина, вы не поймете никогда! Мы можем прождать год, два, три, десять, всю жизнь, и надеяться, и до гроба не забыть каких-то пяти хороших минут!

Тут нам придется сделать небольшой перерыв в диалоге, так как голос Зины задрожал, ей сдавило горло и она не смогла продолжать; а жаль, право: может, она высказала бы еще что-нибудь о том, что такое женщина. А Ларионова, кстати, тронули ее слова, даже за сердце взяло, когда она сказала, что женщине может на всю жизнь врезаться в память несколько, всего лишь несколько минут, но таких, когда ей было по-настоящему хорошо: вот уж, пожалуй, про мужчин этого не скажешь, и Ларионов не мог об этом не подумать и откровенно, честно не сказать себе: эх ты, милый, где твоя чуткость, человечность, будь хоть к этой девушке внимателен и добр, она этого стоит, ведь какие слова нашла!..

Она (спазма еще не совсем прошла, но молчать так долго ей нельзя же). Знаете, может, это вам ни к чему все, ну, словом, как я, уж извините еще, выразилась, пришей кобыле хвост, но вот хочется мне, чтоб... такие, как вы, хоть отдавали себе отчет, что ли, в этом. Вы понимаете? Иногда женщине даже достаточно одного разговора — и только, я честно го-

ворю, поверьте. (Тут Зина подняла на собеседника такие горящие глаза, что он сразу понял: говорит она уже не об Ане, а о себе, о своем, и с еще большей досадой на себя подумал: «Ах я дурак, ах дубина! ..») Вы слышите, я сказала: только одного разговора бывает достаточно, чтобы она, женщина, поднялась, иногда даже из грязи встала, и даже в час самого страшного горя сумела взять себя в руки, отбросить все, что липнет, мешает, тянет книзу...

Скажите, что было делать Ларионову, услышав такое? Оставалось одно: молчать, отчасти потому, что уж очень все обернулось по-серьезному, а он этого, правду сказать, не ожидал; кроме того, вдруг, казалось бы — ни с того ни с сего, ему вспомнился Лермонтов, любимый Лермонтов: «Поверь мне, — счастье только там, где любят нас, где верят нам!» Ах господи ты боже мой, ведь ясно, яснее ясного теперь: его прошлогодняя встреча с Аней и тот разговор, в общем-то случайный, какой произошел у них в ресторане, оказывается, вон как отозвался на судьбах этих милых девушек, таких, в сущности, чистых и простодушных, — они поверили ему, поверили в него, поверили всем его словам о прекрасном, и уж одно это дало им ощущение счастья, во всяком случае, внесло в их жизнь что-то новое, отрадное, то, чего им, наверное, вовек не забыть. Но тут, оказывается, еще и что-то другое есть, — у этой Зины были какие-то, видимо, очень трудные минуты в ее жизни, и вот только что она ему в этом по-своему и призналась и дала понять, что тоже ему многим обязана, как и ее подруга.

Многое, говорю я, понял в эти минуты герой

наш, к чести Ларионова это надо признать. Одного он не понял (позже поймет): эти минуты и в его жизни останутся одними из самых драгоценных, и не так уж много бывает в человеческой жизни таких минут. Поняв это, ты бы тогда, парень дорогой, я уверен, на руках стал бы носить и ту и другую, то есть и Аню и Зину, ведь к своим тридцати годам (и надо это признать, и Ларионов еще это потом признает, признает) он пока не встречал таких. А впрочем, встречать-то все-таки встречал, и не раз, я думаю, да как-то не приходилось приглядываться, сталкиваться поближе. Да и так бывает даже, — столкнувшись (как было в прошлом году у него с Аней), все равно не сразу разглядишь красоту чужой души. А Зина эта? Обе девушки как девушки, с виду простые, а гляди, к чему-то рвутся, тянутся, сердца у них, во всяком случае, еще жаркие, а это и дорого, черт возьми, этого не мало!

Не понял Ларионов еще одной важной вещи — что те стихи Лермонтова относятся в данном случае и к нему самому, что если настоящее счастье «только там, где любят нас, где верят нам», то вот оно, парень, счастье твое, оно рядом, близко, здесь!

Но правда есть правда и что было, то было, — в тот вечер Ларионов мой одно понял, другое — нет, однако же вся эта история взволновала его сильно, задела за душу, надо признать; это не значит, конечно, что он так, сразу, и вырвался из оков своей обычной сдержанности. Нет, он, черт его дери, молчал — и все. Так ничегошеньки и не ответив, ничем не отозвавшись на взволнованную речь Зины, он только посмотрел на звезды, вздохнул.



Он. Вы будете меня сейчас отчитывать, я понимаю...

Она. Нет! У меня цель... скорее даже поручение поблагодарить вас и кое-что сказать.

Он. Вот уж благодарить не за что!.. Это я вас должен благодарить.

Она. За что?

Он. За стихи...

Она. А-а, понимаю... Это Аня, ее идея, можно сказать. А вам понравилось?

Он. Да, пожалуй. Во всяком случае, это было кстати. Стихи настоящие, такие всегда кстати.

Она. Скажите, тут зацветут когда-нибудь сады?

Он. Конечно. Вокруг этих прудов будут сады, тень, тишина, здесь будут на деревьях птицы петь, на дорожках будут цветы и детские голоса.

Она. Вы хорошо говорите. Я понимаю Аню... Знаете, мы с ней тут на днях катались на лодке, вечером, поздно. Мечтали, говорили, смотрели на огоньки... Так увлеклись! Я не скрою, мне известно все. Ваша прошлогодняя встреча и все, что было... Будем по-взрослому говорить, хорошо? Аня терпеть не может драматических сцен, и я тоже. Все же просто в жизни. Ужасно просто! (Ах, как Зина тут лгала, сама не зная — зачем.) Вот мы с Аней взяли и написали в Москву. Знаете? Догадались, наверно, мы почти и не скрывали. Ну, понятно, у вас сорвалась интересная командировка за границу, какие-то две дурочки шум подняли, не в свое дело сунулись. Мы не жалеем, что сунулись.

Он. А жалеть тут не о чем. Сожалеть должен я, что так себя повел.

Она. Я ваше поведение не вправе осуждать, особенно я. Это вы Ане руки не подали.

Он. Я же извинился!.. Слушайте, я вас избегал, если хотите, ради вас же! Я вас щадил, в конце концов! Вы понимаете это?

На минуту прервем диалог, чтобы сказать: услышав, что Ларионов, оказывается, избегал Аню и Зину в их же интересах, что он даже, видите ли, таким образом щадил их, Зина соскочила с днища лодки и попросила Ларионова тоже встать; он встал, и тогда Зина с самым торжественным видом протянула ему руку.

Она. Спасибо!

Он. Ладно, бросьте это.

Она (с чуждой ей театральной иронией). Нет, я восхищена, серьезно! Я теперь понимаю, почему вы даже на зимнее письмо Ани не ответили, — тоже ведь ради пощады, а?

Он. Вы сказали, что не выносите драматических сцен. Я тоже их не терплю...

Она. Ничего. Одну сцену вам придется выдержать. Уж потерпите.

Ларионов подумал: что-то же надо этой девушке сказать, черт возьми, живая душа перед тобой; и едва он так подумал, как все внутри у него точно взорвалось, словно какая-то внутренняя запруда сама вдруг разлетелась. И дальше разговор пошел так:

Он. Послушайте, вы! А если я признаюсь, начисто, как на духу, если хотите, что я не хотел еще глубже втягивать вас обеих в это! В то, что произошло со мной и Анной Андреевной в тот вечер на вокзале... Потому что это сложнее, чем вы думаете!

Она. Смотрю я на вас... Хорошо, Аня моя этого не слышит! Если вы сейчас начнете: условия, обстоятельства и прочее, — то лучше нам сейчас же прекратить разговор.

Он (уже не сдерживаясь). У нас идет такой разговор, который, наверно, будет продолжаться всю жизнь! Только мы часто ведем его сами с собой. Стойте же, черт возьми! Вам я, кажется, все открою!

Она. Ну, давайте поговорим, наконец!

Он. Нет, мы разговаривали! Я ловил ваши взгляды, движения бровей, невысказанные слова на губах! Я разговаривал с вами все эти дни без слов, но чувствовал все, что вам хотелось мне сказать! Я знал, каждую минуту чувствовал, о чем вы думаете и что вы переживаете! Слышал, как вы говорили мне: отстаивай, крепко стой на своем, воюй за свое! Вы говорили мне: верь, живое все равно победит! Так стой на своем! Дерись до последнего! Это твое, наше дело, твоя, наша вера!

Она (горячо). Да! Да! Да! Это же главное. Самое главное!..

Серьезный разговор, как видим, все же произошел; во всяком случае, такие фразы, как: «Я ловил ваши взгляды, движения бровей, невысказанные слова на губах», или: «Я знал, каждую минуту чувствовал, о чем вы думаете и что вы переживаете», — все это в простой деловой речи не услышишь; и в обычной болтовне, какую часто ведут между собой молодые мужчина и женщина, таких признаний, говорю я, тоже не услышишь. А взять последние слова Ларионова, этот его горячо прозвучавший возглас: «Так стой на своем! Дерись до последнего!» А этот вырвав-

шийся из души победный крик Зины: «Да! Да! Да!» — все это было необычно и, конечно, смахивало на самый обычный драматический разговор, чего никак нельзя было бы ожидать от Ларионова, еще не так давно, как мы помним, давшего слово не ставить себя в глупое положение, а главным образом не повторять прошлогодней ошибки. Но, увы, человек все-таки не может во всех случаях повелевать собой, как хочет; разум не командир, сердце не солдат, не подчиненное лицо, а нечто самостоятельно действующее; и даже до того дошло в конце этого на самом деле необычного разговора, что в порыве лучших чувств Зина сделала попытку потащить Ларионова к Ане, но из этого, к сожалению, ничего не вышло, так как Аню, оказывается, занял на весь этот вечер сам Мостовой, а когда Аня от него ушла, очень растроганная состоявшимся разговором, к Мостовому позвали Ларионова, и получилось так, что оба, то есть Ларионов и Аня, встретились на ступеньках крыльца лишь на короткий миг: она спускалась вниз, он спешил наверх, и единственное, что они успели, это на ходу заглянуть в глаза друг другу и улыбнуться, а больше — ничего. . .

Был очень ранний утренний час, только-только рассвело, и степь еще не дымила облаками пыли, и в конторе еще было безлюдно, и, пожалуй, на берегу еще было куда больше народу, чем в степи, на дамбах, а народ этот был весь с удочками, до начала работы любители старались хоть часок порыбачить, — в такой именно час тетя Ариша, уже свободная от уборки и мытья полов, сидела на воздухе за столом

у конторы и писала письмо, а чуть поодаль на ступеньках крыльца в задумчиво-выжидающей позе сидел дядя Филипп.

Он не мешал тете Арише, она — ему, и все у них шло хорошо, то есть тетя Ариша писала свое письмо, а дядя Филипп думал свои думы, как вдруг из общежития появился Мостовой. Ну, дядя Филипп, конечно, тотчас привстал со ступенек, а тетя Ариша тоже не усидела, но Мостовой сказал ей с уважением:

— Сидите, сидите, тетя Ариша! Я думал — пораньше встану, почитаю бумаги, я ведь с собой из Москвы еще другие дела подхватил, а уж вы все на ногах. Стучат, пишут...

Тут из степи послышался грохот, и Мостовой спросил:

— Это что за такое землетрясение?

— То Кузин свой бульдозер повел, — ответила тетя Ариша.

— Золотой народ! — воскликнул Мостовой. — А вы небось скучаете по Москве, а, тетя Ариша?

— Скучаю, грех обманывать. Переписку веду вот.

— Народ вы золотой, что говорить!.. — сказал Мостовой и пошел к конторе, а там ему попался дядя Филипп. — А, здравствуйте! — сказал Мостовой.

— Одну минуточку извольте, — попросил дядя Филипп. — Я только спрошу: должен я выводить процентовку или не должен? Конец месяца, в банк пора подавать.

Мостовой присел на ступеньку крыльца и спросил:

— А вы как думаете? Присядьте.

— Всю ночь не спал, думал, — признался дядя Филипп, присаживаясь. — А под самое утро сел да вывел. Вот она, процентовочка за текущий отрезок.

— Дай-ка! — потребовал Мостовой, и дядя Филипп без слов протянул начальнику небольшой листок бумаги, тот поглядел, покачал головой и уставился на собеседника с улыбкой. — Что ж не подписал?

— Могу и подписать, — с достоинством ответил дядя Филипп. — Я за свои действия отвечаю.

— Это хорошо. А все-таки? . .

— Скажу, скажу, — пообещал дядя Филипп и тут же начал: — Вы заметили? Я не выступал. Виноват! Подписывал процентовки, хотя знал, видел — не так это делается. Истина, чего спорить? Только я вот что хочу добавить. Я почему все-таки подписывал, хотите знать?

— Хочу, конечно! . .

— Скажу, — неторопливо продолжал дядя Филипп. — Видите, товарищ дорогой, удивительно, как бывает. В нашей жизни, говорю, бывает. То плохо, это плохо. И то не так, и это не так. И того под суд, и этого под суд. Всякие безобразия, хищения, упущения, халатность, такая даже дикая чушь, что ужас! А посмотришь — дела идут! Думаешь иногда — да это же черт знает что! Все пропадает! Нет! Дела-то все-таки идут! Идут дела-то, понимаете? Идут, несмотря ни на что! . .

С Мостовым тут произошло нечто странное, — словно позабыв о возрасте своем и всяком приличии, он вскочил, затанцевал, затопал ногами по ступеньке,

где стоял, и, сам себе прихлопывая в ладоши, покрутился на одном месте, а потом с лихим, я бы даже сказал — молодецким криком: «Эх-ма!» — обнял дядю Филиппа и сказал радостно:

— Конечно, идут, еще бы! Построили такие заводы, мосты, города! Столько ума, энергии, таланта вложили! Эх! — еще раз издал молодецкий возглас Мостовой и схватил за руку дядю Филиппа. — А ну, ну, пойдем-ка в контору, поговорим. Мне твоя позиция нравится, дорогой человек, но я тебе тоже кое-что скажу! Я тебе докажу, что с рутиной и безобразиями, какие ты перечислил, нельзя мириться, даже если трижды перевернуться вверх ногами! . .

Едва они скрылись за дверью, с берега подошли Сенчихин, Агеев, Рудаков и Ларионов, все нагруженные рыболовными снастями и ведрами.

— Отлично здесь рыбачить, оказывается, — сказал Сенчихин. — Хоть и щуки, а улов, а это главное!

— На безрыбье и щука хороша! — сострил Агеев.

Сенчихин присел к тете Арише, и как он был сейчас прост, Сенчихин, и даже хорош в своем спортивном костюме — тренировочные синие шаровары и зеленая навыпуск тенниска, — казалось, этот начальник просто слишком засиделся в кабинетах, а ткни его в жизнь, дай опомниться — и опять станет человеком. А впрочем, может, это только так казалось, — в ранние утренние часы все люди хороши, это потом, в течение дня, они начинают вытворять черт знает что, перемешивая доброе с глупым, нужное с нелепым, так что не будем обольщаться и останемся

трезвы, как положено повествователю. Итак, присел он к тете Арише, Сенчихин, и сказал:

— Ты что опять сочиняешь, тетя Ариша? Тоже жалобу, нет? — Он повернулся к Агееву и сказал: — Слушайте, Агеев, вы мне только напомните в Москве, я распоряжусь, чтобы вас. . . — он опять повернулся к тете Арише, — перевести обратно к нам. Где-нибудь пристроим. Так что, — он махнул рукой, — бросьте писать, бросьте. Уладим, уладим, все в наших руках.

Рудаков пришел в восторг:

— Ай да тетя Ариша! Больше всех выгадала! Кричи «ура»!

Ларионов с усмешкой процитировал из Грибоедова:

— «Кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали. . .»

— Э, вы бросьте это! — сказал Ларионову Сенчихин. — Что-то слишком веселы все утро!

— Значит, потом буду плакать. . .

— Вот! — подхватил Сенчихин. — Вовремя сказать нужное слово — даже не половина, а, можно сказать, основа успеха в любом деле. Нужное слово! Вовремя!.. Чтобы не пожалеть потом, не плакать!..

— Ладно, — беспечно отозвался Ларионов и присел к столу, а Сенчихин и Рудаков ушли переодеваться и завтракать. За ними поднялась и ушла на кухню, помогать Машеньке, и тетя Ариша. И тут Ларионов, оставшись один, услыхал тихий голос старика стола:

— Что, брат, не сговорились? Это Рудаков устроил сегодняшний выход на рыбалку так, чтобы ты и

Сенчихин оказались рядом. Но серьезного разговора у вас, я вижу, не было... Ну, ясно: Сенчихин сам не начинал, ожидая, что начнешь ты, человек все-таки подчиненный, а ты не оправдал его надежд, не покаялся. Все на поплавок смотрел и помалкивал, представляю. Вот он, Сенчихин-то, и намекнул тебе насчет несговорчивости, надо понимать...

Из палатки вышла Титова с полотенцем на плече и, увидев Ларионова в рыбацкой куртке и шляпе, расхохоталась.

— Купался и рыбачил, дружок?

— И купались, и рыбачили.

— Пойду и я искупаюсь, — сказала Титова и на ходу игриво мазнула Ларионова по носу. — Позвал бы хоть разик, я бы тоже порыбачила. Удочки-то у вас мои!

— Как твои? — спросил он, сам, очевидно, не слыша своего вопроса.

— А так! Я целых две штуки купила, когда тут еще до вас ездила в город. Агеев их, конечно, присвоил и тебе одну дал, хитрец!

С дороги послышался шум подъехавшей машины, и Титова тут же вернулась, присела у стола.

— Кто-то еще приехал, — проговорила она, вздыхая. — В такую рань, господи! Сколько шуму, треску, возни из-за одного письма в редакцию, ох! Грехи наши тяжкие, господи, господи, когда это кончится, кто скажет? А ты, дружок, — положила Титова руку на плечо Ларионова, — ты чего сейчас-то в думу ударился? Я слышала, ты остаешься здесь на месяц. Плакала, значит, твоя командировка? Жаль, жаль!..

Не успел Ларионов ответить, как появилось новое

лицо, — со стороны дороги вприпрыжку приближался необыкновенно легкий, очевидно, по весу человек: он не шел, а плыл, то прикасаясь к земле, то отлетая от нее. И вот он уже у конторы, и можно хорошо разглядеть: человеку этому лет тридцать уже есть, но худощав он и костляв, как двадцатилетний юноша, у которого все соки ушли в рост. И в самом деле — длинен был приезжий невероятно. А одет он был так: на голове — тюбетейка, на плечах — плащ болонья, а на ногах — кеды; когда он снял болонью, под ней оказалась ковбойка, заправленная в джинсы, и если мы к этому добавим, что в зубах у прибывшего была трубка, а в руках он держал рюкзачок, то портрет можно считать законченным.

— Ба! — вскричала Титова, бросаясь к приезжему. — Лешка! Смотри, Лариосик, кто приехал! Здравствуй, Лешка, черт рыжий! Тю, откуда взялся? Вот кого здесь не хватало!

— Брошен на прорыв из областного треста, — весело ответствовал приезжий. — Я ведь там уже третий год. Ну, здравствуйте, здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогая! — бесцеремонно кивнул он выглянувшей из окна кухни Машеньке. — Привет! Петрейков я! — представился он Машеньке и тут же обратился к Титовой и Ларионову: — Чего вы тут наколбасили, друзья? Э-эх! Ну, ничего! Мы это быстро! Канителить не будем!

— Ты на должность? — тормошила его Титова.

Лешка ответил с апломбом, хотя и шутливо:

— А как же! Замом я к Рудакову, не то главным инженером, что ли. Я за должностью не гоняюсь, были бы овцы целы и волки сыты.

— Все такой же балагур! — смеялась Титова. — Ну, иди представляйся начальству, а я побегу искупаюсь, а то уже поздно. — На бегу она взмахнула рукой. — Петрейков! Физкульт тебе ура! Вечером потанцуем, ладно?

Лешка Петрейков — мы теперь уже знаем его имя и фамилию — подошел к окну кухни, где Машеньки в этот момент уже не было, и шумно понюхал воздух.

— Вкусно пахнет. Это столовая? Эй, красавица! Проголодался я дорогой, как собака. Эй, стюардесса! Умопомрачительный запах! . .

У Машеньки горели котлеты, все же она не стерпела и снова высунулась из окна.

— Слушайте, Петрейков, — обратилась она к приезжему, — вы только приехали, а уже!

— Что уже? — спросил любезно Петрейков.

— Вы не прикидывайтесь, я знаю, что вам надо!

— Ну что, я жду!

— Не ждите, милейший!

— А все же?

— Слушайте, вы же сами хорошо знаете, что вам надо.

— В данный момент я хочу есть.

— И все?

— Да. Понимаешь, красавица, мой желудок подобен петуху: ты что хочешь делай, а он свое кукарекает.

— О, с вами не заскучаешь, — рассмеялась Машенька, и стало понятно, что парень ей понравился. — Только не зовите меня стюардессой! Почему меня все зовут стюардессой?

— А я вас назвал еще красавицей! — угодливо напомнил Лешка.

— Не подлизывайтесь, — отрезала Машенька. — Знаю, чего стоят все ваши слова. Но я добрая. Идите кушать! И вас тоже приглашаю, — сказала она Ларионову. — Что бы ни было, а люди должны есть и пить.

Из глубины стола послышался тяжкий вздох:

— Поток рутины, поток рутины...

Ларионов схватился за голову.

— Черт подери, что это такое!

— Да, трудно это одолевать, — вздыхал стол.

Лешка с недоумением смотрел на Ларионова.

— Слушай, что у вас тут? — спросил Лешка. — Переживания какие-то, я слышал... Фу-ты ну-ты! Идем, дружище! Поедим, попьем!.. А все эти переживания к лешему. Знаешь, что люди говорят? По третьему разу всегда вырубишь огня. Понял? И будь здоров, гнедой! Есть прожиточный минимум — и прогресс налицо. Во как!..

Лешка почти силой утащил Ларионова в столовую, и тут из конторы торопливо вышли Рудаков и Климушкин.

— Гони, старик, гони скорее в город! — сказал Рудаков бухгалтеру. — Сдавай процентовку, хватай зарплату и на прочие расходы! Мы и так опоздали!

— Сейчас, сейчас же еду, — отвечал Климушкин.

— Ты молодец, старик, — похлопал его по плечу Рудаков. — Ты хорошо сказал: «Трезво, реально взвесьте всё». Собирайся! Дуй!

— А я готов. Мне дядя Филипп еще вчера сказал: «Утром будь готов в город ехать».

— Ты скажи, какой прозорливый! — все похлопывал своего бухгалтера Рудаков.

— Представляете, — говорил тот, — вдруг и дочка моя решила со мной ехать, и ее подружка. Сейчас уже собираются... Едем вместе...

— Ну что ж, ну что ж, — сказал Рудаков утешительно. — Не расстраивайся, брат, в отпуск к ним поедешь, а отпуск я тебе дам, как только это все стихнет. Ничего! Дела пошли, контора пишет. Нет, это был блеск! «Трезво, реально взвесьте всё!» Гениально, старик!

Они ушли в гараж, и тут же из столовой вышла и опять присела к столу тетя Ариша; она не любила писать письма в присутствии посторонних, не любила оттого, что не могла писать молча, ей непременно надо было при этом что-то говорить, и вот, снова взявшись за письмо, она так рассуждала сама с собой:

— Да, милая ты моя Ариадна Васильевна, от нас с вами мало что зависимо, так и есть. А девушки наши уезжают, и грустно так на душе — не передать... Скоро и начальники все разъедутся, и даже я, наверно, отсюдова уеду, и жалко, я уже привыкла, я к любой жизни привыкаю, как собака к дому, хорош он или плох...

27. ЭПИЛОГ

Час спустя обе девушки наши, Аня и Зина, сидели на своих чемоданах у дороги и дожидались «бобика», чтобы двинуться в путь, а «бобик» все еще

торчал в гараже, капризничал, как обычно перед дорогой, но отменить поездку было невозможно; как угодно, а ехать надо, голубчик, как-нибудь заведись, миленький, люди зарплату ждут, они пить-есть должны, у них жены и дети, а пока в банке там оформят все, с Климушкина семь потов сойдет, и то он едва-едва успеет к вечеру вернуться, а в коридоре конторы у окошечка с надписью «касса», дожидаясь его, будут допоздна толпиться рабочие и с адским терпением дымить крепчайшими цигарками, так что уж сослужи службу, дорогой, заведись, и поедем, пора, пора!

Такой разговор, казалось, вели в гараже шофер Миша и готовый в дорогу Климушкин. И стоял тут еще Бульдеев, которого директор Рудаков тоже посылал на станцию по делам стройки, и не раз Бульдеев порывался садануть сапогом по «бобику», уверяя, что этак мотор скорее заведется, но ни шофер, ни тем более сердобольный Климушкин такого грубого озорства не допустили.

И, пока они старались добром и лаской уговорить машину завестись, девушки у дороги маялись в томительном выжидании. Хотелось скорее двинуться к станции и сесть на поезд, который отойдет в одиннадцать десять. И вот о чем говорили девушки в эти последние минуты прощания с Барыбой и со всем тем, что они здесь пережили и что оставляли.

— Ничего, еще немножко подождем, да, Зинуля? Папа сказал, что подъедет сюда и возьмет нас... Так лучше, правда?

— Да, Анечка... Никакого прощания. Сели и поехали...

— Сели и поехали, вот именно... Сели и поехали... Слова все сказаны, чего еще? Впрочем, вот слова, все из ума не выходят: «Мне тоже нет-нет и захочется прочь: в какую-то бурю, в какую-то ночь, и хлопнуть...» Ты вроде недовольна, Зинок?

— Чем? Глупая!

— А что мы уезжаем...

— «Но в том-то и дело, что дело не в том», дорогая. Я же только сопутствовала тебе, Анечка, только выполняла твой план — и все. Твой план был приехать сюда. Мы приехали... А сейчас уезжаем, и это тоже твой план, чтобы ни с кем не проститься. Взять и уехать. Вот мы и уедем. Я, правда, зато своего плана не выполнила. Надеялась здесь юбку себе сшить — не сшила. Были еще планы... Малышке своей шапочку связать.

— А я басню надеялась сочинить... Но я еще сочиню, да какую! Весь наш педсовет проберу до косточки! Ох, буду воевать!.. А мне тоже не мешало бы юбку сшить, правда?

— Ладно... Пускай уж так... Как решилось, так и пусть...

— Ты чем недовольна? Зинок ты моя родная!..

— Все хорошо, в сущности...

— Но ты недовольна, что мы уезжаем, недовольна, я же вижу! Скажи, между вами было еще что-нибудь, кроме того, что ты мне рассказала? Было? Стихи он тебе вчера читал, скажи?

— А скажи и ты мне: прошлым летом между вами в тот ресторанный вечер на вокзале еще было что-то, кроме того, что ты мне рассказывала потом?

Аня в отчаянии заломила руки.

— Я не подумала, я не подумала, я не подумала! Нет, он не принц, нет! Не принц!..

— Принц, Аня, все-таки принц. Ты была права.

— Он только стихи любит читать каждой встречной! О, стихи-то он умеет! Это у него получается!..

— Он не пустой, Аня. И не скверный. Просто он обыкновенный. Но в его душе сидит маленький принц, этого не отнимешь. И ты была права!..

— Это сидит в нас! В нас! Это я его таким увидела! Это я, мы его таким выдумываем!

— Нет, он есть, есть... Может, и в нас...

Тут девушкам пришлось оборвать разговор, у дороги появились Климушкин и Бульдеев, и, хоть пришли они пешком, видимо, «бобик» все-таки завелся, потому что Климушкин сразу принялся торопить дочь и ее подругу:

— Поехали, поехали, девчатки! Там на дороге машина, шофер у колонки воды набирает! Воду забыл налить в радиатор, черт! Ну, еще можете минуты две-три посидеть, чтобы вам на дороге никто не попался! Бульдеев! Бери чемоданы! Нет, постой! Две-три минутки посидим.

— Со всем удовольствием, — отозвался Бульдеев, весь какой-то сегодня добродушный, готовый на все хорошее, а Климушкин объяснил девушкам:

— Бульдеев за катками послан, за поливальными машинами. Вдруг пришли на станцию и эти машины и катки. Мы писали-писали — ничего не было. И вдруг — нá тебе! Вчера звонят со станции. Чудеса в решете да и только... Дела человеческие... Да-а... Прав этот Агеев, надо признать. Он все время говорил: никакой драмы не будет!

— На что они, драмы? — чистосердечно пожал плечами Бульдеев. — Ну их!..

— Вот именно! — улыбнулся Климушкин, и чувствовалось — не до улыбок ему сейчас, тяжело у него на душе, ведь понятно, но, не выдавая ничего, он продолжал: — Агеев этот умница! Как-то он тут сказал, — позавчера, что ли, мы с ним в конторе сидели. Какие, говорит, могут быть драмы в наше время? Нет, милые, то время прошло, когда водились всякие Гамлеты и Отеллы. Как это, говорит, мы вдруг станем самовольно удариться в бурные страсти, когда есть резолюции и указания, которых надо придерживаться и которые надо исполнять! Сегодня, говорит, Отелло возможен только в том случае, если его назначат быть таковым. Он должен входить в номенклатуру. И точно так же обстоит дело с Гамлетом. Его должен подобрать отдел кадров...

— Точно, — подхватил Бульдеев. — Каждый у нас есть только кадр.

— Папа! — остановила Аня агеевские рассуждения отца. — Не опоздать бы... Пошли!

— Да, да... Никаких драм, никаких драм... Бульдеев! Бери чемоданы, подмоги, пожалуйста. У меня что-то сердце ночью ныло... Как бы до инфаркта не доиграться, боюсь!

— Не бойтесь, что нам инфаркты? — сказал самоуверенно Бульдеев, подхватывая чемоданы, словно перышки. — Наш народ инфарктами не запугаешь! Мы что? Мы народ простой и хитрый. Нас везут, мы...

— Слышали, слышали! — замахал рукой бухгалтер. — Пошли! Не отставайте, девушки!

Мужчины пошли к водокачке, где капризный «бобик» набирал воду, а девушки еще задержались.

— Ну что, что? — спросила Зина, глядя в глаза Ане.

Они обнялись, словно расставались не с Барыбой, а друг с другом, хотя об этом не могло быть и речи.

— Ладно, — сказала Зина. — Сейчас мы уедем, и все будет кончено... Да, знаешь, он мне вчера еще сказал: когда уедет большое начальство, — а его оставляют здесь на месяц поработать, — то в какой-то самый ближайший вечерок он повезет нас с тобой на станцию и там в ресторане вместе проведем время и поговорим. Это я забыла тебе сказать. Это было.

Аня жалобно спросила:

— И больше ничего не говорил?

— Благодарил тебя... Хвалил за стихи... Но об этом я тебе уже рассказывала. Подымайся, идем!

— А Мостовой мне вчера очень хорошо о тебе говорил, — сказала Аня. — Он даже обещал нас с тобой в Москву вызвать, когда дело Барыбы будет слушаться на коллегии.

— Забудет, — усмехнулась Зина.

— Очень письмо наше одобрял. Прямо рассыпа́лся.

— Там посмотрим, — сказала Зина. — Пошли!

— Да, надо идти, — согласилась Аня и вдруг вскипела, крикнула во весь голос: — Ох, буду драться этой осенью с директоршей и завучем! Там я все понимаю, там я на каждом педсовете бой давала! А здесь я была как связанная! Почему это, Зина?

— Ну, понятно же! Все-таки стройка, — сказала

Зина, с грустью глядя в сторону конторы. — Пять с лишним миллионов рублей стоит! Ну, давай помашем ручкой этой степи, небу, людям, которые уже давно работают на дамбах, пожелаем им удачи — и ту-ту-ту!..

Девушки замахали рукой, и трудно сказать, которая из них первая произнесла тихо-тихо:

— Удачи вам, удачи!..

И тотчас вторая подхватила:

— Большой, большой удачи!..

И обе все махали, махали Барыбе и как завороженные стояли, смотрели, и она, Барыба, казалась им сейчас, право же, прекрасной, и как хотите, а широко раскрытые глаза девушек выражали именно это...

Такова первая часть нашего эпилога, или концовки, все равно, а будут в ней еще две части, и я постараюсь уложить все на немногих страничках, потому что эпилог, как я понимаю, не положено затягивать. Тут вся задача — свести концы с концами и дать знать, что с кем было.

Не теряя времени, скажу, что было с Ларионовым, когда после завтрака в столовой и пустопорожней болтовни с Лешей Петрейковым он узнал об отъезде девушек.

Так как до последней минуты он ничего не знал, то, узнав, от растерянности опешил и сначала даже не мог сообразить, что делать, — хотел броситься бегом за уже исчезнувшим в степи «бобиком». Но, конечно, опомнившись, молодой инженер понял всю безрассудность да и бесцельность такой погони, — что укатило, того не вернешь, увы! Но, поняв это,

Ларионов все равно не успокоился и стал в отчаянии матерно проклинать этого Лешку-балбеса, не задержи он Ларионова лишних полчаса в столовой своими россказнями об аспирантуре, которую он, Лешка, собирается окончить без отрыва от производства, то, вполне возможно, Ларионов еще, наверное, застал бы Аню и Зину у машины и хоть попрощался бы с ними! А из-за Лешки он и это прозевал, сто чертей ему в бок! И знаете, у Ларионова сгоряча даже сорвалось: «Японский бог!» — что свидетельствовало о несомненном заимствовании у Бульдеева, который, как видите, тоже был кое-чем по-своему богат и язык которого, как видите, вполне мог быть использован для облегчения души в иные трудные минуты.

И, припав к столу у конторы, словно к родному другу, Ларионов тихо твердил, как помешанный:

— Уехали! .. Уехали! ..

— Так и бывает, братец мой, — скрипел в ответ добряга стол. — Человек, с которым ты даже не успел поговорить, очень дорогой тебе человек вдруг исчезает, как дым, из твоей жизни...

А Ларионов, казалось, ничего не слышал, он был занят своими горестными мыслями, он сейчас разговаривал с Аней, словно их не разделяло уже значительное расстояние:

— Ты же хотела вцепиться мне в глотку! Ты же хотела, — ну, вцепись! Обе вцепитесь! Зачем отступились от меня? Или вы не отступились? Что? Поверили? Поверили, что выберу самый трудный путь? Что? Дали мне самому решать? Я решу, уже решил, слышите? ..

Пора было идти на дамбы, в степи уже вовсю гро-

хотали экскаваторы и бульдозеры, из конторы доносился мелодичный стук директорской пишущей машинки, и там же, в конторе, Мостовой и Сенчихин вели в эту минуту деловой разговор с Лешей Петрейковым; все вокруг было обычно и просто, как бывает на стройке каждый день, а Ларионов все не мог оторваться от стола.

И тут на помощь пришла Титова; она увидела из окна конторы, как он убивается, вышла к нему и сказала:

— Представь, Лариосик, меня тоже оставляют здесь на месяц! А вот Агеев вывернулся. Отговорился язвой желудка, шельмец!

Но Ларионов не слышал и этих слов, он все допытывался у стола:

— Что же, отступились они, нет? Скажи?

Ответа не было, и тогда, подняв голову, Ларионов посмотрел на Титову.

— Ты чего?

— Как чего, дружочек мой? На дамбы пора!..

— А-а, да-да, — закивал он, начиная приходить в себя. — Ну, пошли, что ж!..

И они ушли в степь, дымную от пыли и солнца.

Вон кончена и вторая часть нашего эпилога, и остается третья, последняя, и тут я прежде всего раскрою то, что было мною давно обещано, а именно: как и откуда? — ведь такой вопрос неизбежно мог возникнуть еще при чтении первых страниц нашей повести, — как и откуда стало мне известно все то, о чем здесь рассказано? И я готов ответить: все очень просто, друзья мои, — я был там, в Барыбе!

Я не устоял, все-таки послушался совета нашей

Аточки и прямо-таки зубами вырвал командировку в Барыбу и съездил туда, несмотря на отсутствие денег в редакции из-за перерасхода по фонду командировок. И если не все, что из главы в главу прошло перед вами, я видел своими глазами, то все же могу сказать: я видел Барыбу, видел дамбы, знаменитые «ерики» эти, и облака пыли над ними, видел степь, где растет почти одна верблюжья колючка, и огромную гладь водохранилища, где, пока суд да дело, развелись в несметном числе одни прожорливые щуки.

Видел я жилища строителей и ночующие у крылечек бульдозеры, видел контору и, разумеется, посидел у старика стола. И хотите — верьте, хотите — нет, но если бы не он, то немало интересного прошло бы мимо моих ушей.

Видел я палатку, где в момент моего приезда еще жила Титова, и видел другую, рядом стоящую палатку, где еще жил Ларионов. Ну, и, конечно, всех других, кого мне здесь хотелось видеть, я тоже повидал и даже съездил с Кузиным в ресторан при станции, и поговорили мы там душа в душу, и я послушал, как там бацают «Сан-Луи», и на другое утро мы оба даже не могли вспомнить, как добрались обратно, но добрались.

А утро было чудесное, воскресное, и я до обеда ходил по берегу с Титовой, и как раз во время прогулки она и рассказала мне про то достопамятное техническое совещание, в котором она, Титова, сыграла такую большую роль.

А во время обеда у меня был занятный разговор с Машенькой, которую критическое замечание Ла-

рионова по поводу отсутствия бумажных салфеток на столах все-таки проняло, свидетельством чему были белеющие на всех столах аккуратно нарезанные треугольничками салфетки, но — мне так кажется — если бы Ларионов потребовал, чтобы на каждом столе лежал серебряный прибор, а может, даже прибор из чистого золота, то Машенька, как говорят, разбилась бы в лепешку, но приборы эти непременно бы достала и разложила на столах, потому что была без ума от Ларионова, хотя и не отказывала во внимании и Лешке Петрейкову, занявшему пост главного инженера стройки вместо паренька в футболке, который в свою очередь заменил на посту прораба Бульдеева, оказавшегося вполне довольным новым назначением на должность десятника.

Так что, как видите, со всеми я там повидался и поговорил, и все, что можно было узнать, узнал; вот только от Ларионова я мало чего добился, — он пропадал с утра до ночи на дамбах, а вечерами лежал у себя в палатке и при свете «летучей мыши», выпрошенной у директора, читал книжки, которые брал у Климушкина, а книг у того было немало; и единственный собеседник, ради которого он охотно прерывал чтение, был тот же Климушкин; со всеми же остальными он бывал предельно сдержан и мог часами молчать.

Вот так, друзья, и вы уж, надеюсь, догадались, что, вернувшись в Москву, я для выяснения интересовавших меня вопросов побывал и в министерстве у Мостового и в главке у Сенчихина, — я их уже не застал в Барыбе.

И если от Мостового я узнал, что вместо Ларио-

нова в заграничную командировку по маршруту Париж — Брюссель — Амстердам послан другой инженер, то от Сенчихина мне стало известно, что намечавшийся приказ с выговором Ларионову отменен, поскольку положение на стройке явно улучшается, в чем, несомненно, есть и заслуга Ларионова, а Титова-то уж наверняка заслуживает премии, которую она и получит по возвращении из Барыбы вместе с отпускными, о чем уже заготовлен приказ.

Кроме того, Сенчихин еще подтвердил мне то, что я узнал от Мостового: в ближайшее время на коллегии министерства будет слушаться вопрос о ходе работ по Барыбе, после чего будет послан ответ редакции и авторам письма, то есть Ане Климушкиной и Зине Терехиной, хотя, поскольку копия их письма, пересланная в министерство редакцией, не имела подписей, главк может им не отвечать, да уж по настоянию члена коллегии Мостового в данном случае будет сделано исключение.

Ну, вам должно быть понятно, особенно долго я у него, у Сенчихина, не стал засиживаться, а попрощался и поехал в район трех вокзалов, где помещается «Гидрорыбпроект», и там видел я товарищей Ларионова — все славные ребята — и тот уголок за чертежными досками, где они отмечают всякие торжественные случаи; и с Бородой я тоже поговорил, и это оказался очень симпатичный и деловой человек; а потом, вернувшись к себе в редакцию, я позвонил моему шефу:

— Слушай, шеф, я совершил целое путешествие по сигналу из Барыбы и теперь не знаю, что делать.

— А что?

— Да дела там идут вроде.

— Строят?

— Строят, вовсю даже.

— Рыба будет?

— Я думаю, будет. . .

— Ну и добре, — сказал шеф. — Садись и давай черкни в номер этак на пять строк петита, коротенько: идет-де стройка, будет рыба и все такое прочее.

— Шеф, в пять не уложусь.

— Но-но, хватит! Бери, пока дают. . .

И шеф повесил трубку, у него запарка, идет сдача материала в номер, и сколько таких Барыб, господи, да что Барыба, правда же, если в сегодняшнем номере столько потрясающих известий из разных мест страны, — там невиданный урожай собрали, здесь в море новый атомоход спустили, и даже на такие великолепные дела больше пяти строк петита у нас не дают, да и как быть, если этих дел слишком много и страна так велика!

И вот, думая обо всем этом, я долго сидел за своим рабочим столом у чистого листка бумаги и говорил себе: ну прав же шеф, нет же никакой трагедии, — но временами меня начинало грызть: а вдруг это и плохо, вдруг прав Агеев с своей формулой: «в том-то и драма, что драмы-то нет», и мне вспоминались строки: «Но в том-то и дело, что дело не в том. . .»

И кончилось все тем, что я не сдал в этот день в номер ни одной строчки о Барыбе.

Я пошел к шефу и уговорил его дать мне хотя бы

еще на три дня командировку в Новочеркасск. И вскоре действительно съездил туда, повидался с Аней и Зиной.

И когда после всех разговоров с ними я уезжал и они махали мне с перрона платочками, я твердо решил, что лучше всю эту историю, которая так и не попала в печать, изложу в повести с комментариями, все-таки, мне кажется, Барыба этого стоит.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Письмо из Барыбы 5
2. Ларионов горит 11
3. Все идет как надо 15
4. О любви и косности 25
5. Вид с дамбы 32
6. Что произошло вечером 44
7. Что произошло ночью 55
8. Что произошло под утро 62
9. Что произошло под утро (продолжение) . . . 66
10. Принц или не принц? 80
11. В разгар рабочего дня 88
12. В разгар рабочего дня (продолжение) 96
13. После преферанса 101
14. Лезть на рожон или не лезть? 110
15. Воспоминание о прошлом 118
16. Ты еси 125
17. Сенчихин и стол 132

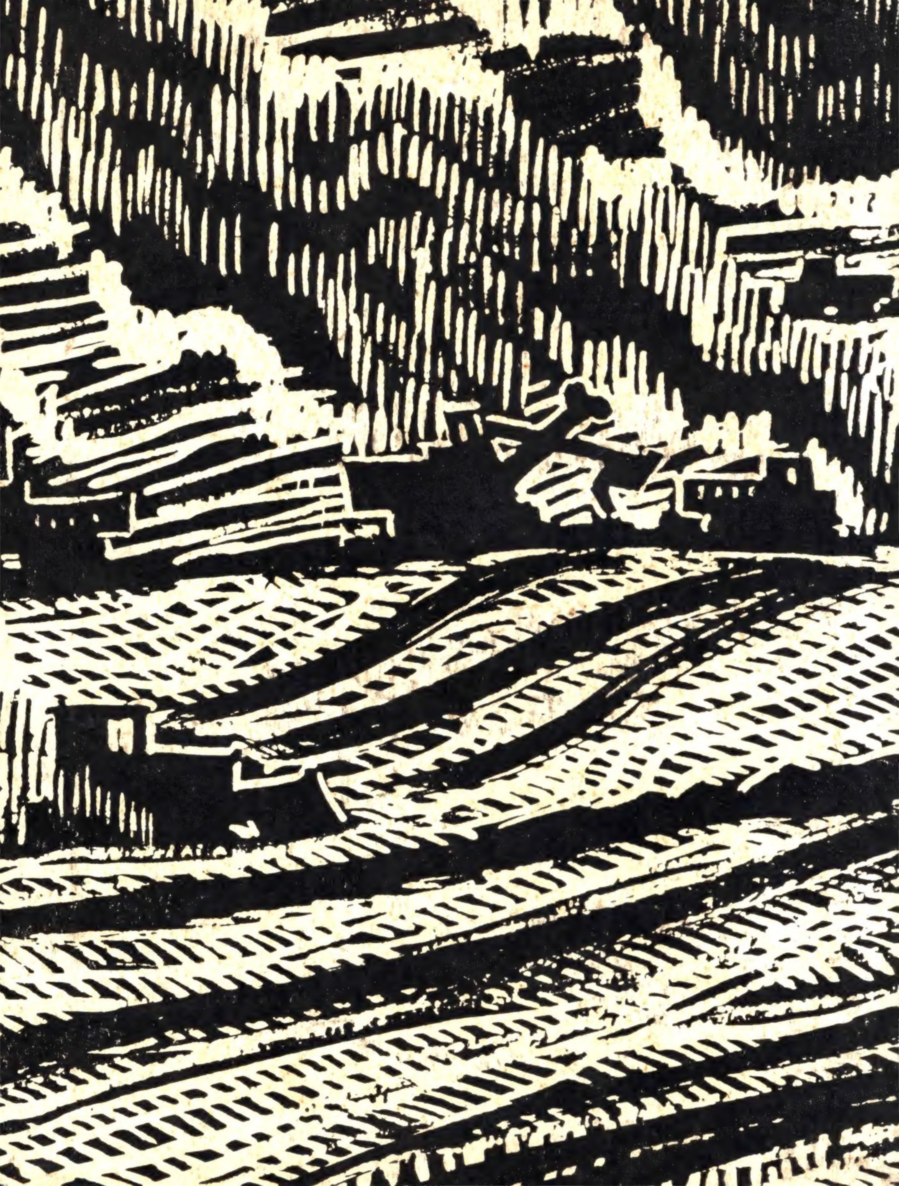
18. О неуправляемых явлениях и прочем 137
19. Душа во мгле 143
20. Вечер откровений 153
21. Вечер откровений (продолжение) 165
22. Вечер откровений (окончание) 175
23. Техническое совещание 187
24. Техническое совещание (продолжение) . . . 199
25. Жизнь! 210
26. А дела-то идут! 222
27. Эпилог 240

Фазин Зиновий Исаакович

ПЯТЬ СТРОК ПЕТИТА

М., «Советский писатель», 1970, 256 стр.
План выпуска 1970 г. № 61

Художник В. И. Суриков. Редактор Э. С. Мороз. Худож. редактор Е. И. Балашева. Техн. редактор Л. П. Мельникова. Корректор С. Б. Блауштейн.
Сдано в набор 21/I 1970 г. Подписано в печать 18/VI 1970 г. А 01070. Бумага 70×108 1/32 № 2. Печ. л. 8 (11,2). Уч.-изд. л. 9,82. Тираж 30 000 экз. Заказ № 355. Цена 35 коп. Издательство «Советский писатель». Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10. Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Красная ул., 1/3





35 к. 0 56



Зиновий Фазин